

# ЛЕОНИД ЛЕОНОВ



## Русский лес



ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Леонид Леонов

**Русский лес**

«ЭКСМО»

1953

## **Леонов Л. М.**

Русский лес / Л. М. Леонов — «Эксмо», 1953 — (Всемирная литература)

Роман Леонида Леонова «Русский лес» — итог многолетних творческих исканий писателя, наиболее полное выражение его нравственных и эстетических идеалов. Сложная научно-хозяйственная проблема лесопользования — основа сюжета романа, а лес — его всеобъемлющий герой. Большой интерес к роману показал, насколько жизненно важным был поставленный писателем вопрос, как вовремя он прозвучал и сколь многих задел за живое. Деятельность основного героя романа, ученого-лесовода Ивана Вихрова, выращивающего деревья, позволяет писателю раскрыть полноту жизни, насыщенной трудом и большими идеалами. Образ Грацианского, человека с темным прошлым, карьериста, прямого антагониста нравственных идеалов, декларированных в романе и воплотившихся в семье Вихровых, — большая творческая удача талантливого мастера слова.

© Леонов Л. М., 1953

© Эксмо, 1953

# Содержание

Глава первая	5
1	5
2	15
3	20
4	29
Глава вторая	31
1	31
2	38
3	43
4	50
5	56
6	61
Глава третья	64
1	64
2	70
3	75
4	78
5	82
Глава четвертая	88
1	88
2	94
3	98
4	103
5	109
6	112
7	115
Конец ознакомительного фрагмента.	117

# Леонид Леонов

## Русский лес

### Глава первая

#### 1

Поезд пришел точно по расписанию, но Вари не оказалось на перроне. Кое-как перебравшись с багажом в сторонку, Поля долго искала в толпе это исполнительное и доброе существо, милейшее на свете после мамы.

Конечно, ее задержала какая-нибудь беда или заболевание... но что могло случиться со студенткой в Советском государстве, где, кажется, самая молодость служит охранной грамотой от несчастий? Какая хворь пристанет к двадцатилетней девушке, еще недавно дальше всех толкнувшей ядро на межрайонном спортивном состязании? Верно, забыла завести будильник с вечера и сейчас, расталкивая пассажиров и чужую родню, мчится по вокзалу, чтобы с разбегу обнять подружку... Однако уже и схлынула обычная по приходе поезда суматоха, а Вари все не было.

Поля решила своими силами добираться по записанному на бумажке адресу. И сперва ей никак не давался чемодан с оторванной скобкой, а потом выяснилось, что не хватает рук на узелки и свертки: так всегда бывает, когда провожают четверо и не встречает никто. Она растеряла бы половину вещей, если бы откуда-то сверху не свалился к ней чумазый паренек с комсомольским значком на спецовке, — явно не носильщик. Повесив через плечо спальный саквояж и мешок с шубкой, накрест перехваченный веревкой, он вскинул чемодан под мышку и двинулся по опустевшему перрону так обыкновенно, словно это повторялось у него изо дня в день. Привыкнув к маленьким удачам, сопровождавшим ее всю дорогу с Енги, Поля молча покорила чудесному вмешательству.

Благодетель попался на редкость неразговорчивый, и, с одной стороны, это было неплохо, так как чудеса всегда тускнеют от объяснения, а с другой — все же полагалось ему, хотя бы из учтивости, справиться если не об имени приезжей, то по крайней мере о цели прибытия в столицу, тем более что Поле не терпелось поделиться с кем-нибудь планами жизни на ближайшие сто — двести лет. Чуть забежав вперед, она извинилась за подвязанный к саквояжу чайник, потому что он бил по колену и брэнчал крышкой, выбалтывая свои провинциальные новости, но молодой человек сдержанно успокоил Полю в том смысле, что и в старину бабушки ездили в Москву со своими самоварами. Выйдя же на улицу заметно в испарине, он уже сам осведомился у спутницы, не дровец ли или бутового камня прихватила она с собой в качестве гостинца столичной тетке. Пока онемевшая от его дерзости Поля собиралась выпустить ответные коготки, они уже добрались до троллейбуса.

Теперь чудеса пошли так густо, что и не различишь, где кончалось одно и начиналось другое. Голубой сверкающий вагон па воздушных колесах и с предупредительно распахнутой дверцей поджидал Полю у остановки. Не успела войти, билет взять, как ее багаж сам собой разместился внутри, и, несмотря на переполнение, даже нашлось местечко у окна, приспущенного из-за жары. Поле не хотелось уезжать, не отплатив по заслугам молодому человеку, и троллейбусное начальство тотчас предоставило ей время для беглого сведения счетов.

— Скажите, пожалуйста, сколько я вам должна за этот ваш... ну, подвиг? — спросила она через окно, с притворно озабоченным видом роясь в стареньком мамином кошелечке.



Паренек поднял глаза, и вначале Полю поразило его удивительное сходство с Родионом: они у него были такие же строгие, зеленоватые, с задорными искринками на донышке — и та же подкупающая привычка глядеть прямо в лицо при ответе. Правда, этот был моложе и ростом чуть пониже ее приятеля; лишь копоть да рабочая одежда придавали ему видимость старшинства, а на деле, если бы его помыть немножко, он оказался бы разве только на годок старше Поли, совсем мальчишка, видимо из щегольства решивший не улыбаться никогда. Нет, этому далеко было до Родиона; тот не посмел бы с первого раза потешаться над малознакомой девушкой, несколько оробевшей от счастья, как и должно быть при исполнении желания.

— Ровно ничего! Просто меня губит любопытство — наблюдать из будки — и жалостливое сердце ко всем, попавшим в безысходную беду... — невозможно отозвался благодетель — Я кочегар на паровозе, который вас привез в Москву.

Тогда, не умея изобрести чего-нибудь поядовитей, Поля посоветовала ему торопиться назад, а то вокзальные жулики уведут у него паровозишко, пока он ухаживает за незнакомыми девицами, и ему придется тысячу лет выплачивать из жалованья. Склонив голову набочок, молодой человек сочувственно кивал на ее жалкие потуги мести, пока она сама не покраснела от бессилия и досады. По счастью, водителю удалось наконец накинуть на провод соскользнувшую дугу. Машина плавно тронулась в путь, и Поле сразу стало легко и радостно от солнышка, от встречного ветерка, от обилия заманчивых приключений, ожидавших ее в будущем, а в душе на все лады пелась любимая ее поговорка, эпиграфом надписанная в дневничке: «И вот былинку понесла река!»

Лишь теперь Поля с удивлением заметила, что все ее новые попутчики чему-то улыбаются с такими осветленными лицами, словно слушают перекличку ранних птиц в лесу, еще обрызганном росой. Никто не смотрел в Полину сторону при этом, но, значит, каждому из них уже известны были ее безоблачные обстоятельства и благороднейшие намерения, тем в особенности завидные, что все у ней было впереди... Видимо, всем, от кондукторши до сурового усача в разлетаке и черной стариковской шляпе, может быть профессора из того учебного заведения, куда собиралась поступать Поля, — всем им было лестно, что такая привлекательная девушка, как Аполлинария Вихрова, отныне поселится в их превосходном городе и станет вникать в разные полезные науки на радость маме, Ленинскому комсомолу и всему их великому отечеству. Так что едва Поля осведомилась вполголоса про Благовещенский тупичок, где проживала Варя Чернецова, все наперебой, и даже немножко ссорясь, принялись объяснять ей дорогу, причем, так совпало ко всеобщему удовольствию, две Полины соседки ехали в ту же многоэтажную новостройку, потому что работали как раз во дворе дома 8-а, в швейной мастерской, а профессор, оказавшийся зрителем чего-то, имеющего почти оборонное значение, даже и квартировал там, в деревянном особнячке наискосок... Словом, чуть ли не каждому в то утро оказалось с Полей по пути.

Все четверо они вышли на остановке и двинулись по солнечной стороне, добросовестно поделив Полину кладь. Присмирившая, подавленная великолепием московской улицы, Поля шла посреди, едва ступая, словно боялась повредить какое-нибудь всенародное имущество, и стараясь запоминать подробности для вечернего отчета маме на Енгу. Слепительный милиционер придержал поток машин, пока шествие перебиралось через перекресток; наряднейшие здания мира высились по сторонам, и из всех, сколько их там было, распахнутых окошек гремела одна и та же торжественная радиомызыка с единственно возможным названием — *приглашение к жизни*. В то лето вдобавок было ужасно много цветов: на любом углу — в киосках, на лотках и прямо с рук — продавали целые копны цветов с необсохшей влагой на срезках, окутанные облаками душистой утренней свежести... Но почему-то всякий раз при этом Поля торопилась пройти мимо, ревниво прижимая к груди сверток в серой бумаге, единственную ношу, не доверенную никому.

Профессор в разлетайке, лихо возглавлявший шествие, повернул направо и потом еще раз вправо, в прохладную, поросшую травкой улочку с домиками под ленивыми, расклонившимися деревьями, каким положено расти только на окраинах. Здесь весело кружился тополиный пух, запоздалая в тот год летняя выюга, и маленькие местные жители самозабвенно ловили этот волшебный, невесомый снег, а ветерок сдувал его с доверчивых детских ладошек, и, пожалуй, весь смысл жизни в том и заключался, чтобы снова с криками гоняться за ускользающими хлопьями. Если бы не дети, было бы там совсем пустынно, так что событием пришлось бы считать одинокого велосипедиста, который, посверкивая зайчиками, проехал в глубь тупичка. Вчерне законченный восьмиэтажный дом возвышался в этой мирной житейской заводи. Поля озабоченно взглянула вверх, где под самой крышей обитала ее Варя, и вдруг, в довершение чудес, оказалось, что лифт после длительного простоя начал работать как раз в то утро.

– Вот спасибо вам!.. – на прощанье сказала провожатым Поля и поклонилась им с особым чувством, как если бы перед ней находились не просто попутчики, а доверенные представители доброго и умного человечества. – Мы теперь соседи, так что еще непременно увидимся и поговорим обо всем... правда?

Квартира была не заперта, но никто не выглянул на шум, пока Поля по частям втаскивала в прихожую свои пожитки. Она перевела дух и прислушалась. Где-то в глубине глухо посвистывал сквознячок и с прозрачным звуком капала вода. Несколько дверей, иные под замками, выходили в полутемный коридор. Поля постучала наугад в первую налево, и женский голос разрешил ей войти.

Опрятная пустоватая комната смотрела на солнечную сторону; через настежь раскрытое окно вся она была залита резким, почти кварцевым сияньем неба. Сидя на детском стульчике, женщина чинила вдетый на руку шелковый чулок. Вороха цветного трикотажа лежали на фанерном рабочем столе перед нею и прямо у ног, сваленные как попало. Работа была изнурительна, а женщина уже пожилая, но ей нравилось ее ремесло, потому что заказов было много и, кроме хлеба, они доставляли сознание полезности, необходимое для осмысленного существования. Когда-то она была хороша собою; тугой жгут почти белых волос, по-старомодному уложенных валиком, венчал ее чистый, очень выпуклый лоб. Поле почудилось, что не раз встречала эту женщину в компании таких же чопорных, седовласых стариков, – кажется, на колоде карт.

– А, помню: вязаный мужской жилет... вашего отца? – для верности переспросила женщина и, приоткинув картонный козырек со лба, мельком и близоруко взглянула на гостью. – Да, я смотрела его и держусь прежнего мнения. Против судьбы не пойдешь. Он отжил свое, остается лишь распустить его на нитки.

Жесткая окончательность диагноза не допускала ни расспросов, ни возражений, и, хотя происходило явное недоразумение, у Поли почему-то сжалось сердце.

– Вы, наверно, ошибаетесь. Я только что приехала. Мне Варя Чернецова нужна... – пояснила она внезапно пересохшими губами.

Женщина снова оторвалась от работы:

– А, знаю... Вы та самая девушка из провинции... простите, с периферии, – поправились она по моде века, стремившейся уравнивать всех граждан, чтоб никому не было обидно. – Товарищ Чернецова скоро вернется, ее срочно вызвали в районный комитет Коммунистической партии, – прибавила она, и почему-то в ее устах это прозвучало в особенности внушительно и непривычно. – Присядьте... если только вы богаты временем. Через минутку я покажу вам, где она прячет ключ... а то у меня петля соскочит.

– О, пожалуйста... уж в этом-то отношении я богачка! – задорно улыбнулась Поля, и действительно, первым впечатлением от нее было – будто привезла с собою свежий прохладный воздух и уйму просторного и, не в пример городскому, дешевого времени, как другие везут из деревни масло или небеленый крестьянский холст. – Мне хоть и сто лет нипочем!

Тогда женщина попросила Полю подойти ближе.

– Какая вы еще молоденькая! – вскользь заметила она.

– Ой, что вы... – зардевшись, отмахнулась Поля. – Это я только выгляжу моложаво, а мне уж скоро восемнадцать стукнет.

– И когда же это вам восемнадцать... стукнет? – отдельно и не спуская с нее прищуренных глаз, спросила женщина.

Выяснилось, что до совершеннолетия оставалось всего два часа девять минут и – тут Поля справилась по серебряным часикам, подарку матери после окончания школы, – три секунды. Она стала горячо доказывать, что восемнадцать не так уж мало, – «вон Дарвин в ее возрасте уже доклады делал, а Герострат, к примеру...». По ее убеждению, свою знаменитую истину древний философ мог открыть лишь в детстве, когда босыми ногами бродил по гальке древнегреческого ручейка, а вот она, Поля, сколько ни бродила по лесу, нарочно забываясь в дебри поглуше, ничего путного пока не изобрела. Отсюда вытекало с очевидностью, как много предстоит ей сделать, чтоб не осрамиться перед лицом своего народа и внести что-нибудь свое и новенькое в сокровищницу человеческой культуры, несколько подзапущенную, как она намекнула, по вине мирового капитализма.

– Наверно, вы Гераклита имели в виду? – осторожно поправила женщина с чулком.

– О, конечно... я их всегда немножко путаю. Да еще, говорят, какой-то Геродот был вдобавок?... это который же из них церковь-то спалил? Извините, я вас все от работы отрываю... – Тут Поля смутилась и стала извиняться за свою неуместную говорливость.

– Нет, все это очень интересно и важно очень... – в раздумье сказала женщина, и было похоже, что она радуется вынужденной передышке в работе. – Продолжайте, прошу вас.

– Да уж все! – еле слышно призналась Поля.

Женщина не сразу склонилась над своим чулком; кажется, еще и еще хотела слушать наивную, противоречивую музыку Полиной болтовни.

– Впрочем, если вам скучно со мною, девочка, возьмите книжку с комода...

– Ничего, я и так посижу, мне все равно надо еще привести в порядок разные свои там... ну, мысли и впечатления! – шепнула Поля.

После томительного уличного зноя приятно освежал горный сквознячок восьмого этажа. Присев на краешек чего-то, служившего вместо кресла, Поля огляделась украдкой. Главное место было отведено детской, стерильной чистоты, кровати с тумбочкой возле, где, кроме недопитой чашки молока, лежали сложенные по ранжиру и на бочок три заласканные до глянца матрешки. В гораздо меньшей, правой половине, за китайской ширмой, сгрудилось все остальное, нужное для жизни и добывания хлеба, между прочим – манекен на деревянной ноге, во весь рост отразившийся в старинном зеркале меж двух резных колонок. С тех пор как сквозная, непоправимая трещина раздвоила его во всю длину, вещь эта относилась скорее к разряду семейных реликвий, чем мебели.

Слегка подавшись вперед, Поля заглянула в зеленоватое, потускневшее стекло и догадалась об источнике своих удач и чудесных совпадений на протяжении последних суток. Из овальной ореховой рамы на нее глядели, две сразу, забавные провинциальные девчонки лет по пятнадцати, с беспричинно сияющим взглядом и до такой степени обгоревшие на енежском солнцепеке, что и кожа и кофейной раскраски платье совершенно сравнялись по цвету. Ясно, подобное существо и шагу не могло ступить незамеченно в таком глазастом городе, как Москва. И значит, все они, кто потчевал ее в вагоне дорожной снедью, бегал для нее за кипятком на станциях, чтоб не отстала от поезда, кто в десяток рук втаскивал ее багаж в троллейбус и потом провожал до Варина тупичка, – все они жалели ее той особой, не обидной, чуточку даже эгоистичной жалостью, какую простые люди возмещают горький пробел в своем собственном безрадостном детстве.

– Вы бывали прежде в Москве? – продолжая работу, спросила женщина.



– Я и родилась здесь... но четырех лет меня увезли в лесничество.

– Ваш отец служит в лесу?

– Нет, он здесь, он состоит... – почему-то замялась Поля, – ну, лесным профессором!

– Значит, вы живете врозь с отцом?

– Мама разошлась с ним, когда я была маленькая совсем. Он даже довольно известный, имеет много специальных трудов, только... человек он оказался плохой.

– Кто же посвятил вас в историю семейного разлада, мать?

– А никто.

– Тогда почему же вы думаете, девочка, что он плохой человек?

– А потому... потому что мама хорошая! – возвысила голос Поля.

И дальше не могла остановиться, пока не выплеснула всего, что, подобно илу, отстоялось на душе. Получалось одно к одному, что и наука его скучная и профессор он, надо думать, неважный: не зря же то и дело хлещут его в лесных журналах за то, что из-за деревьев леса не видит. Ладно еще, что подружки этих статей не читают, а то затравили бы Полю насмешками да допросами, на какой помойке ухитрилась себе такого родителя подобрать.

– Его Иван Вихров зовут... не слышали? – назвала наконец Поля и с робкой надеждой подняла увлажнившиеся глаза.

Судя по тому, как оживилась вдруг женщина с чулком, ей, видимо, известно было это имя. Да, в молодые годы в Петербурге она встречала одного молчаливого студента с такой фамилией, тем лишь примечательного, что был он, помнится, кухаркин сын... Мельком, чтоб не слишком огорчать свою собеседницу, женщина помянула также, что наслышана и о вихровских неудачах от одного из своих знакомых того же петербургского периода, – гораздо более удачливого, даже процветающего ныне лесовода... И тучка грустного, нежелательного воспоминания набежала на лицо женщины с чулком. В противоположность Вихрову и в опровержение Полиного мнения о людях лесной профессии, этот человек отличался, по ее словам, на редкость живым, хоть и несколько озлобленным умом, придававшим особый блеск его общепризнанному дару даже слишком уж беспощадного анализа. Но, значит, в таких и нуждалась эпоха, если именно ему доверили вести критические обзоры в специальных изданиях, высказывать руководящие соображения, разоблачать ереси и ошибки своих товарищей.

– Этот человек – тоже профессор, и, сколько мне помнится, он рассказывал мне кое-что о Вихрове. Впрочем, я слишком далека от лесных дел и распрей... – сдержанно заключила она.

– Вы можете говорить со мной откровенно. Я ненавижу моего отца... Так что же он сказал?

Непоправимое горе светилось в глазах у Поли, и, с одной стороны, нельзя было не пожалеть это кроткое провинциальное создание, вынужденное расплачиваться за родительские грехи... но, пожалуй, еще хуже было бы обидеть его неправдой.

– Я держусь правила никогда не лгать детям. Не хочу огорчать вас, девочка, но... это была не очень лестная и даже сердитая оценка.

– Да, мне тоже попадались его статьи, – покорилась своей участи Поля, наперед зная имя прославленного критика своего отца.

– На вашем месте, – милосердно продолжала женщина с чулком, – я утешилась бы сознанием, что, во первых, у вас еще остается мать, а во-вторых, видимо, ваш отец все же немало потрудился в жизни, если привлек к себе перо и гнев такого выдающегося ученого. Милая, не надо предаваться отчаянию: не всем же обладать талантами, а, судя по вашим семейным делам, этот Вихров вдобавок не без странностей?..

Тот же зловещий и неопределенный отзыв Поля неоднократно находила между строк в рецензиях на отцовские книги, причем, несмотря на различные подписи, иногда лишь инициалы, в их обостренном до резкости стиле легко угадывалось одно и то же авторство. Можно было любым образом объяснять существование Вихрова в лесной науке – великодушием эпохи

или же, напротив, недостатком ее внимания к лесным делам, но этот сложившийся приговор уже не подлежал ни отмене, ни даже обсуждению, и лишь по наивности сердца, по бедности воображения, по незнакомству со строгими условиями века еще можно было рассчитывать на помилование.

– Но... этот ваш знакомый, он тоже долго в лесу жил? – наобум спросила Поля.

– Нет, по слабости здоровья и необходимости постоянного врачебного присмотра он почти не покидает города.

– Но, значит, он... издали предан лесу, сам пишет книги, если он все же... такой уж замечательный знаток?

Женщина с чужим чулком на пальцах должна была объяснить это мнимое противоречие.

– Дело в том, девочка, что он не совсем лесник... Я бы скорее назвала его просто выдающимся деятелем в этой области. И вообще – это человек большой трагической судьбы и разнообразнейших дарований... и в юности близкие пророчили ему будущность поэта или музыканта. О, вы еще не знаете, милая, как судьба склонна посмеяться над нашими планами! Нет, я не скажу, чтобы он был очень привязан к лесу, хотя, бывало, часами бродил по парку, приезжая к нам в имение... Впрочем, это было совсем небольшое поместье, скорее просто так, старинная хижина с колоннами, – быстро поправилась она, приметив ревнивое и пристальное Полино любопытство. – Кроме того, талантливому критику и не обязательно все знать или уметь самому, его дело в общем наблюдении. Во всяком случае, у него достаточно вкуса и культуры, чтобы судить о деятельности других: что хорошо там, что плохо. Вот уже лет восемь подряд из-за всяких общественных нагрузок он не имеет возможности закончить... я не помню темы... но один очень такой фундаментальный труд. К сожалению, у меня крайне плохая память на эти вещи, – неожиданно прибавила она, как бы отстраняясь от окончательного суждения в таких сложных и запутанных проблемах.

– А скажите, этот человек... он не родственник вам? – тихо и как-то в особенности настоятельно спросила Поля.

Вопрос был явно неприятен этой женщине. Нет, она не состояла с ним в родстве, а просто однажды в молодости, проходя мимо, они ненадолго заметили друг друга. Да и дружба-то их, если позволено назвать этим словом мимолетные отношения тридцатилетней давности, распалась еще до революции, и теперь они встречались совсем изредка, главным образом на улице, хотя та же насмешница-судьба поселила их на старости лет в одном и том же доме, правда в разных подъездах и этажах. Оказалось, что с годами при всех прочих сохранившихся достоинствах из порывистого, общительного юноши получился довольно холодный и нелюдимый в обращении человек... и Полю поразила смена оттенков – то горечи, то восхищения, то раздражительной досады – в том, как эта женщина отзывалась о главном судье ее отца, словно одновременно и жаловалась на него, и под защиту его брала, и проклинала за какую-то непрощаемую вину.

– Вы не скажете, как его зовут? – еще поинтересовалась Поля.

– Вы же сказали, что знаете... так зачем же вам это?

– Мне для точности, если только не секрет.

– Здесь и нет никакого секрета. Его знает вся страна, – вынужденно и уже не без гордости отозвалась та. – Ну, Грацианский... а что?

– Нет, ничего... я так и знала, – без всяких задних мыслей усмехнулась Поля.

Обе, пожилая и молоденькая, замолкли ненадолго. Вот так же, бывало, в дремучих енежских лесах прежних лет встречные настороженно расходились, стараясь проникнуть в намерения друг друга. Тем временем женщина с чулком припомнила подробнее, при каких именно, ускользающих теперь, обстоятельствах она услышала впервые имя Полина отца. Странно, прежде чем оживить в ней образ человека, довольно расплывчатый за давностью той чуть ли не единственной встречи, оно сперва вызывало в памяти большую порцию малинового мороже-

ного с вафлями, такого вкусного по жару, и вслед за тем продолговатое, залитое праздничной публикой поле Коломяжского ипподрома в Петербурге, с облачком несчастья над ним, похожего на кратковременный дождик, и, пожалуй, больше ничего, кроме полурастворившейся во времени шемящей тоски. В тот самый день, попозже, близ шести, разбился известный летчик Мациевич, первая жертва русской авиации, а за час перед тем Грацианский представил ей, восемнадцатилетней девушке Наташе Золотинской, трех своих приятелей, *мушкетеров*, причем один из них принес мороженое на трибуны, где они сидели; видимо, это и был Вихров. Его товарища, длинного и басовитого, звали почему-то Большая Кострома. И, как песчинка или шевеление ветерка в горах, слово это привело в движение подтаявшую лавину стареющей памяти.

Сперва нужно было непременно удостовериться в чем-то:

– Боже мой, Вихров, Вихров!.. ведь я тогда как раз в вашем возрасте была. Ваш отец учился в Петербурге?

– Не знаю. Он женился, когда уже стал профессором, а я еще позже родилась. Он хромым...

– Вот не помню, хромым в этой тройке как будто не было, но... он потом был арестован и выслан на север, правда?

– Я никогда не задавала маме вопросов об отце, чтоб не причинять ей боли. Только однажды я спросила ее мельком... она смутилась и сказала: когда-нибудь ты все узнаешь сама... увидишь его и поймешь сама.

– Как же могло случиться, что ваша мать не проговорила об этом ни разу, если все время вы жили вместе с ней?

Нет, они как раз не все время жили вместе: в Пашутинское лесничество к матери, где находилась ее больничка, Поля приезжала лишь на летние каникулы. Три последние зимы она прожила в семье у Вари Чернецовой, отец которой, Павел Арефьич, бывший уральский партизан, служит теперь ветеринаром при райисполкоме. Все дело в том, что в Шихановом Яму, недалеко от лесхоза, имелась только семилетка, и потому среднюю школу Поля кончала в городке Лошкареве... ну, который при впадении в Енгу шустрой лесной речонки Склани!.. Раньше, как и Шиханов Ям, это было просто богатое раскольниковое село, но в революцию, после постройки текстильного комбината, его выдвинули в города и, по слухам, собирались также фабрику киноплёнки строить, но, значит, получше нашли местечко. Оно конечно, городишко не чета Москве: и улицы травой заросли, и дома помельче... но зато воздух – хоть в бочках на экспорт гнать, зато необозримые заливные луга за Енгой, и в половодье как отразится в них опрокинутая небесная ширь, то буксиришки с плотами как бы по облакам бегут. А в лесах лось и барсук, да и рысь видали, а незадолго до Полина отъезда хитрующие тамошние мужики с Васильева Погоста притащили в лесхоз на жерди живого мишку, которого опоили медовой водкой из дуплянки, с вечера поставленной на заветной тропе. «Он сперва-то крышку лапой собьет, потом с урчаньем по земле катается, пчел по привычке давит, хоть и нету их, после чего приступает к самому пированию. Тут его сонного, пьяненького и берут, и он лежит, повязанный, оплакивает свою долю человеческими слезами...» И сама Поля слышала, будто в стародавние времена, пока не свели подступавшие с юга березовые рощи, соловьи в окна залетывали, прямо хозяйкам во щи! Старики же подревней доньше хвастаются, будто в бывалое время по высокому берегу – не то на полтора километра, не то на четыреста, но уж никак не меньше восьмидесяти, – маленько не доходя до двинских болот, простиралась отборная корабельная сосна. Да и теперь еще в грозу как поразойдутся, как заскрипят с ветром в обнимку енежские-то боры, как дохнут раскаленным июльским маревом, так даже подушки ночи три подряд пахнут горячим настоем земляники и хвои... Вот как у нас на Енге!

Варя все не шла, а нельзя было обрывать рассказ в разгоне, как и песню на высокой ноте: только с птичьим щебетом и сравнить было звонкий Полин голосок.

– Нет, мы на наш Лошкарёв не жалуемся... Есть у нас и стадион побегать, и Дворец труда при кожевенной фабрике, а в городской библиотеке даже переписка Микеланджело имеется. И мы еще с седьмого класса клятву дали: как в люди выйдем, городка своего не забывать и каждый месяц слать в него хоть по книжке: у нас комсомол дружный, строгий, грамотный. Правда, все у нас из дерева пока, в лесу живем, даже бронзы на памятник Ленину не нашлось, так мы отличный парк в честь его учредили. Уж шумит над головами, наш: ничего, бронза потом сама придет. А как сажали, то на каждом деревце всего по двадцать листочков было, а нынче... Вот мы всё о будущем да о родине твердим, словно за горами они. А если б каждый всерьез подзанимался ею в радиусе шажков хоть на десяток вокруг себя, – и Поля пошурилась, мысленно умножая цифру на квадрат радиуса круга, – да прибрал бы эти триста четырнадцать квадратных метров, как комнату свою, как рабочее место, как стол, где пища твоя стоит, да кабы приласкал землю-то свою в полную силу, да хоть бы вишенку посадил, пускай одну за всю жизнь... Ой, чего можно за час в сто тысяч рук наделать! Вот я и хочу с письмом обратиться ко всему комсомолу, чтоб брали пример с нас, с лошкарёвских ребят. Как вы думаете, напечатают?.. не сочтут меня за выскочку? – доверчивым шепотом осведомилась она.

Потому ли, что слишком много знала о жизни и о Грацианском тоже, женщина с чулком не решилась взглянуть в Полины, ничем пока не омраченные глаза. Склонясь над работой, она думала о том, что никогда, пожалуй, такой длинный перегон не разделял в России двух смежных поколений.

Минутку спустя она переборолла свое необъяснимое смущение:

– Вас, кажется, Полей зовут? А меня – Наталья Сергеевна. Вы хорошая, горячая, больше-любая девочка... и я рада, что познакомилась с вами, – заговорила она растроганно, но почти сухо, а Поля внимала ей, вся покрасневшись и догадываясь, что сейчас услышит слова, каких не повторяют дважды. – Запомните, что я вам скажу... непонятное само разъяснится впоследствии. Когда жизнь догорает дотла, то в пепле остается одна последняя золотинка. Она бежит, гаснет, и потом наступает холод... Вот в ней-то, в той последней искре, и заключен весь опыт пройденного пути. Вот вам моя золотинка... Люди требуют от судьбы счастья, успеха, богатства, а самые богатые из людей не те, кто получал много, а те, кто как раз щедрей всех других раздавал себя людям. Что касается меня самой, я выяснила эту истину слишком поздно... – Она вопросительно подняла глаза. – Я вижу, вам хочется возразить мне?

– Не сердитесь, Наталья Сергеевна, но будет нечестно с моей стороны... если я сейчас промолчу. Это хорошо сказано, об этой... ну, о золотинке!.. Но сегодня вы уже три раза подряд называли слово *судьба*. Мы на эту тему даже коллективное обсуждение у себя в Лошкарёве провели, два дня бранились и выяснили наконец, что это – вредное слово слабых, ничего не выражающее, кроме бессилия. Так что судьбы-то нет, а есть только железные воля и необходимость.

Наталья Сергеевна улыбнулась, и за весь их разговор это была первая ее улыбка.

– Все зависит от того, Поленька, откуда рассматривать человеческую биографию, с начала или с конца. В вашем возрасте мы тоже мечтали о великих делах, читали рефераты, динамитцем играли, спорили до хрипоты... и вот через тридцать лет я чиню чужой невымытый чулок, чтоб заработать на молоко для внучки. А ведь я бывала на самом вершуре жизни... и, признаться, вовсе не сожалею о том, что она разжаловала меня... просто в люди! Но я не знаю, как это получилось. Человеку и свойственно меру своего удивления называть судьбою, вот. Однако вы правы в том смысле, что молодость человека длится до той поры, пока он не произносит впервые это слово *судьба* в применении к себе. – Женщина отложила законченную работу. – Если вы хотите умыться с дороги, то – по коридору вторая дверь направо. Потом тушите свет.

Целая жизнь, добросовестно оплаканная, заключалась в ее кратком, очень спокойном признании. Поле стало грустно и душно, потянуло к окну. Она подошла, взглянула сверху, – с непривычки к высоте у нее закружилась голова. Очень много неба она увидела там, и в нем изредка проплывали невесомые тополевы пушинки. Прямо внизу лежал Благовещенский

тупичок с ветхой, спрятанной меж деревьями недоломанной церквушкой. Там, на лужайке, малыши водили хоровод, и, судя по тому, как живое, пестрое колечко то смыкалось, приседая до земли, то расходилось с поднятыми ручонками, то была любимая детская игра *каравай*. Звук их песенки достигал восьмого этажа, как ни глушил ее ровный гул из-за ближней вереницы зданий, где «река жизни катила свои каменные воды». Поле в особенности нравилась эта уже сложившаяся фраза из будущего письма к маме. Потом она подняла глаза, и у нее захватило дух от объемности зрелища... Перед ней лежала Москва.

Все застилала трепетная полуденная мгла с постепенным, по мере удаления, цветовым разбегом в голубую бесплотную дымку. Только глазами живописца можно было охватить это согласное множество разнородных строений, как бы струившихся в перегретом воздухе. На самом ближнем плане еще различались массивные, грубые тона материалов, из каких складывается пейзаж современных городов: лиловатые в тени, почти неразбавленные краплаки старого, обжитого бетона, – либо светлая, уже с прибавкой кадмия, зелень древесной листвы, потому что в разгаре стояло лето, – либо розоватая от расстояния сиена (*так в тексте – OCR*) кирпичной кладки на коммунальных новостройках, ступенчато пробивающихся сквозь старинные городские кварталы, – либо, наконец, стократно повторенное дыхание столичной индустрии, размытые потеки заводских дымов, сажей нарисованные в исполинском небе. Все это было сжато, втиснуто одно в другое, предельно уменьшенное до макетных размеров, чтоб уместиться в такой просторной, даже безбрежной тесноте.

Дальше простирались километры крыш, вперебежку сверкающих перепутанными гранями, – целое море крыш, подернутое, если прищуриться, слепящей радужной зыбью, – почти совсем как море, если бы в эту плывучую стихию тончайшей акварельной кистью не были вписаны то нитевые сооружения радиостанций и электропередач, то островерхие кровли вокзалов, похожих на кили перевернутых кораблей, то беззащитные в стремительном натиске индустриального прогресса, полные отцветшей прелести московские колоколенки, то расставленные полукругиями и сложными кривыми фасады общественных зданий, которыми, как пунктирными мазками, обозначалось направление набережных или крупнейших магистралей. В одном просвете между ними сизым, никелевым блеском мерцала река, конечно, самая красивая и полноводная на свете, потому что это была московская река!.. Еще на градус выше, на далеком холме, как бы у подножия снеговых гор, на горизонте, угадываемое скорее по сердцебиению, чем даже по знакомому с детства силуэту, вставало самое знаменитое архитектурное создание русских, Кремль, величественное нагромождение каменных плоскостей и полусфер с гигантской белокаменной колонной посреди, без вычурных изощрений Запада, но и без созерцательной лени Востока. Что-то неярко блистало на слегка сплюснутых, как бы под тяжестью неба, золотых куполах, – верно, необсохшая роса истории, как загадочно определил это в одном своем стишке Родион... Тонкий и желтый ранящий лучик оттуда, проникнув в сердце через ее расширенный зрачок, позвал Полю к себе, и она незримо вступила в древние ворота, где на мгновение ее ознобило холодком вечности. Мысленно она обошла собрание шедевров и святых, эти каменные ладанки, царственные и все же невзрачные в сравнении с подвигами предков, на чью грудь они были повешены в самом начале пути. Придерживая соломенную шляпку на затылке, Поля осмотрела рубиновые звезды, тем и схожие с небесными, что отовсюду видны были на планете; она попыталась также сосчитать артиллерийскую вражескую медь вдоль петровского арсенала и почтительно коснулась знакомых ей по картинкам – колокола с осколком и самой мирной на свете пушки с ядрами, богатырских игрушек наших прадедов...

Полины впечатления о Москве ложились на благодарную почву, подготовленную рассказами Павла Арефьяча. При нем, двадцать с небольшим лет назад, на Восьмом съезде Советов, была впервые произнесена крылатая формула коммунизма как суммы советской власти и электрификации, технической базы современного крупного производства. Он сидел так близко, енежский делегат Чернецов, что слышал звенящий шелест листов в ленинской руке, рассек-

шей воздух при этом. За семейным столом вечерами он любил еще и еще разок припомнить, как же он выглядел в ту пору, на заре, великий город, уже тогда снискавший восторженную признательность бедных, какой и проверяется сила движущей идеи, и завистливую ненависть богатых, чем всегда мерилось низменное почтение врага... По отзыву Павла Арефьича, скромна была в те годы внешность Москвы, хотя советский народ, вступавший в пору почти вулканического извержения ценностей, мог бы в одну пятилетку одеть ее нарядней младшего северного брата, которого два века сряду холила и обряжала вся империя... Собственно, Поля и ехала сюда с намерением посвятить себя целиком приукрашению своей столицы.

Она растерялась, как все опоздавшие к началу великого дела. Все пространство до горизонта было уже застроено, ни местечка не оставалось там для ее собственных замыслов, родившихся в жарких спорах с товарищами или на страничках девичьего дневника. Казалось, город уже созрел для вечной славы и теперь нуждался разве только в необыкновенных подвигах, которых Поля вовсе не умела. Она почувствовала себя ничтожней ребятешек, там, внизу, старательно выполнявших свои маленькие обязанности. И когда снова перевела на них глаза, увидела наконец свою Варю; та изо всех сил пробивалась сквозь блокаду обступавших ее малышей.

Поля ринулась вниз по лестнице. Лифт уже не работал из-за обеденного перерыва. Подружки столкнулись на площадке третьего марша и затем, обнявшись, стали добираться до квартиры.

– Ты извини, но я же знала, что ты у меня смышленная, что ты доберешься и одна! – говорила Варя, с материнской лаской вглядываясь в подружку. – Понимаешь, выбрали секретарем организации, и вот просто минутки не остается для себя. И кстати, такой суматошный день сегодня...

– Какие-нибудь неприятности? – всполошилась Поля.

– Напротив, все очень хорошо. Даже голова кружится, такая отличная жизнь настает! Так спешила домой по жаре, вся мокрая. Да еще эти противные маленькие гражданята всякий раз проходу не дают... У меня тут вся окрестная детвора в приятелях! – И тихонько усмехнулась, крайне довольная перечисленными обстоятельствами.



## 2

Действительно, дружбу с детьми Варя заводила с полуслова, такое доброе человеческое тепло постоянно излучалось из нее. Домашние шутили, что со временем Варя обзаведется семьей в тридцать восемь человек, причем все будут обшиты, обмыты и накормлены; более умеренные представления о семейном благополучии как-то не вязались ни с расточительной щедростью ее сердца, ни с самим обликом ее. Варя была крупновата, а большое, сильное тело требовало и соответственной нагрузки. Наверно, счастье ее уже и осуществилось бы, будь она чуть покраще с лица, несколько плоского, с тонким разрезом рта и широко расставленными глазами. Она выглядела бы куда естественней, если бы из стен столичного педагогического института перенести ее куда нибудь на выжженные склоны Тянь-Шаня, посадить на мохнатого конька да пустить против полуденного ветра с камчой в руке и ниткой бус на загорелой шее. Мирясь со своей внешностью, Варя и не стремилась приукрасить себя, а волосы носила гладко, без пробора зачесанные назад, но даже ее белый, всегда туго накрахмаленный воротничок на скромном и темном платье выглядел попыткой чуть погладить несправедливость природы.

Варя засыпала приезжую тысячью вопросов о лошкаревских новостях, о родных и соседях, о милом дальнем лесе, и еще – кто теперь в комсомоле орудует за главного и постарела ли учительница Марфа Егоровна, та самая, по которой за отсутствием башенных часов лошкаревцы проверяли время, и даже как чувствует себя Балуй, неизменный спутник всех охотничьих достижений Павла Арефьича, – словом, обо всем и, желательно, в мельчайших подробностях, каких не перескажешь в самом обстоятельном письме.

В ответ полилась пестрая Полина скороговорка. Оказалось, Павел Арефьич по-прежнему неумоимо катает на велосипеде по всему району, хотя, сдается, все еще тоскует по жене, Варинной мачехе, а соседка Зоя Петровна, что у Чернецовых во дворе четвертый год живет, прислала Варюшке, своей любимице, енежского медку по старой памяти и домашней сушки грибков, чтоб не тратиться зря в столице, а Марфа Егоровна, как и раньше, в мужских калошах шлепает по осенним грязям в школу, но что-то стали ее часики припаздывать на минуту-другую в сутки, а Балуй и совсем плох, за курами не гоняется, а только чихает да к печке тянется...

– Да и мамочка моя, уважаемая Елена Ивановна, тоже немножко подалась в ту же сторону, – продолжала Поля, выкладывая гостинцы из чемодана. – Внешне-то и не скажешь худого, только еще построже стала... но как провожала меня, отозвала в проулок у пакгауза и всплакнула украдкой... А казалось бы, о чем ей теперь слезы лить? И главное, вся сразу такая маленькая сделалась, болтливая на жалкое слово, никогда с ней раньше такого не случалось.

– Не огорчайся, Поленька, всегда так бывало. Старое стареет, а молодое постепенно выходит в первую шеренгу...

В остальном, кроме мелочей, все обстояло благополучно. В прошлую зиму окончательно дорубили и ту часть Облога, что еще оставалась перед речкой Горынкой, так что теперь с Шабановой горы, которая возвышается над пристанью, стала видна дылдистая труба новой электростанции, что на Васильевой Погосте. «Оно и попривольней как-то сделалось без леса-то, и вид на индустрию открылся, но, знаешь, Варенька, в душе чего-то вроде и поубавилось...» И такие теперь верховые ветры обрушиваются на город Лошкарев, что недавней бурей сорвало шпиль с каланчи, хотя он и не нужен в настоящее время, а у заслуженного врача республики Гаврилова унесло его знаменитую черную шляпу, и она у всех на глазах летела до середины Енги, пока не пропала в сердитой пенистой волне. Кроме того, с той поры шибко воет в трубах по ночам, и старухи, несведущие в метеорологии, шепчутся в очередях, будто это Горынка со Скланью убиваются по сосенкам, унесенным вешними водами, кажется, в Казахстан. Впрочем, плоты этого года внезапно обмелели, не дойдя до Волги, так что их вручную снимали с переката.

– Значит, Пустошá тоже свели? – огорченно спросила Варя.

Нет, если не считать самого краешка, Пустоша́ стоят пока неприкасаемо, во всей своей сытой и рыжей красе. А в колхозах кругом словно с ума посходили: строят, да женятся, да песни поют. В самом Лошкареве временно кино открылось в бывшей трапезной Премиловского монастырька... но поленились старую штукатурку прокупоросить, и накануне Полина отъезда сплетничали местные старушечки, будто какие-то старинные святители своевольно, каждый сеанс, проступали на экране среди действующих лиц, так что заведующему даже сделали внушение из области. И потом, забыла сказать в суматохе, все кланяются Варе: и слепенькая Прасковья Андреевна, и киномеханик Петя Чмокин, наиболее корректный в городе Лошкареве танцор, который в этом году уходит на военную службу, и все семейство Ермаковых, одиннадцать душ, и директор краеведческого музея Гвидоненко, собственными силами открывший два зуба и позвонок некоторого ископаемого чудовища, и Ниночка Цыпленкова – присланной Поле запиской, потому что накануне увезли ее в родильный дом... словом, все помнят милую Вареньку, кроме одного, от которого как раз больше всего хотелось бы Варе получить поклон.

– Однако хоть и шлют приветы, но обижаются, что мало писем пишешь, ждут с дипломом назад, на место старенькой Марфы Егоровны... – закончила Поля, любуясь на разложенные гостинцы, и вдруг с изменившимся лицом метнулась к забытому впопыхах свертку в серой грубой бумаге.

Казалось бы, Варя была ей родней сестры, однако же свой подарок Поля раскутывала с опаской заслужить пусть хоть необидный смешок. Но Варя все сразу поняла и благодарно прижала к груди скромный Полин дар. То был снопик простеньких полевых цветов, перевязанный ленточкой с конфетной коробки. Всего там нашлось понемногу: и полевая геранька, раньше прочих поникающий журавельник, и – с розовыми вялыми лепестками – дремка луговая, и простая кашка, обычно лишь в виде прессованного сена достигающая Москвы, и жесткий, скупой зверобой, и желтый, с почти созревшими семенами погребок ярутки, и цепкий, нитчатый подмаренник, и еще десятки таких же милых и неярких созданий русской природы, собранных по стебельку, по два с самых заветных, вместе исхоженных лугов. Это походило на кроткое благословение родины, залог ее верной, по гроб жизни, любви.

– Их бы в воду теперь, хотя я их всю дорогу в чайнике и держала. Истомились от жары, бедные! Просто не знала, Варька, что тебе привезти...

Погрузив лицо в цветы, Варя улыбалась ей своими монгольскими, в ту минуту по-женски привлекательными глазами. Жизнь еще теплилась в этих обвядших травинках, а в золотых кувшинчиках зябры еще не высохла и капелька меда, а смолка еще липла к пальцам, а пушица не утратила своего шелковистого тепла.

– *Eriophorum vaginatum*! – почтительно произнесла Варя, и, верно, никогда так проникновенно не звучала Линнеева латынь; вдруг вспомнилось, что только на другом берегу, на заболоченной пойме, росла у них пушица. Она ужаснулась размеру подвига: – Безумная, ты для этого ездила за Енгу?

– О, я туда на лодочке, быстро!.. – и сама вся светилась отраженной радостью подружки. – Знаешь, они еще живые... их только надо в воду поскорей!

– Ты бесконечно милая, – с закушенными губами сказала Варя и, отвернувшись к окну, влажными глазами посмотрела во глубину родной земли, в крохотную, еле проставленную на картах точку.

Тем временем, чтоб не мешать подруге, Поля деловитым взором обежала комнату, где ей предстояло жить.

Собственно окна у Вари не имелось, его заменяла стеклянная балконная дверь. Дом заселили до окончания стройки, и в проеме, между железных перекладин балкона, сразу открывалась пропасть с залитой солнцем, длинной улицей внизу. Ее желтоватый, послеполуденный отсвет смутно отражался в потолке: комната глядела на запад. Она была гораздо теснее преды-

душей, так что вторая кровать, накануне взятая у соседки и еще без подушки, занимала весь излишек Вариной жилплощади. Зато, если у Натальи Сергеевны во всех мелочах обстановки сквозила застарелая, непреодолимая сложность, здесь легко, без примечаний, читалась жизнь советской студентки, поставившей себе простую и ясную цель. И вот с чем она отправлялась в дорогу: окантованная, на стенке, фотография вождя на скамейке в Горках, и под нею, чуть поменьше, ее любимый Дарвин с мальчишескими глазами, потом платяной шкафчик в углу, стопка книг на столике, этажерка с вещичками самого непритязательного обихода... все, кроме зеркала.

– Теперь рассказывай о себе, – приказала Варя, когда букет был заправлен в склянку. – Я так и не поняла из твоих писем, куда же ты решила поступать.

– Тогда уж я с самого начала... можно?

– Надо всегда с начала... и чем короче, тем ясней. – Варя всегда старалась говорить точно и понятно, словно диктовала на пробном уроке в классе. – Только имей в виду, через полчаса я снова должна уйти по срочному делу.

Оказалось, виднейшие лошкаревские граждане приняли участие в выборе Полиной профессии, но все советы их пришлось отвергнуть ввиду крайней противоречивости. Так, например, доктор Гаврилов настаивал на физике и даже на астрофизике, этой единственной из наук, способной в ближайшие полвека дать ответ на все основные вопросы бытия, о которых, по его мнению, так вразнобой и так недоступно для простого людя мямлит философия со времен туманного Фалеса...

– И в общем, Варька, я согласна с этой оценкой. За три тысячи лет сколько они сил потратили, эти философы, а не пришли к единому мнению даже в таком простом вопросе, как... ну, существуешь ты, к примеру, вне меня или ты только совокупность моих ощущений... подобно тому как ложные солнца по теории относительности образуются на пересечении звездных лучей, – пояснила Поля и даже показала на пальцах, как ей самой представляется это, а Варе стоило большого труда удержаться от улыбки: в Полиной речи она слышала знакомые лошкаревские голоса, и среди них громче всех выдавался рассудительный басок главного из Полиных сверстников мыслителя, Родиона Тиходумова. – Только, пожалуйста, не улыбайся, милая. Я, конечно, маленькая, но я тоже имею право знать, *кто я, откуда я и, наконец, зачем я...* а то еще так и помрешь глупой деревяшкой!

– Как поживает Родион? – кротко спросила Варя.

– Ничего, все худеет. Накануне отъезда мы с ним поссорились на всю жизнь, – наотрез бросила Поля.

... С другой стороны, товарищ Валтасар, заведующий райздравотделом, уговаривал Полю посвятить себя медицине и таким образом ускорить процесс изживания социальных недугов, доставшихся нам по наследству от старого мира. Были также высказаны неотразимые доводы в пользу химии, животноводства и даже железнодорожного транспорта. Сама же Поля сперва склонялась в сторону литературы, чтобы описать обычаи горцев и гордые предания ихней старины с точки зрения современности, но ее отговорили, как отговорили и от намерения стать художницей для создания эпохальных полотен о передовых заводах и крупнейших электростанциях, поскольку как-то неловко заниматься рисованием обыкновенных пейзажей в наше переживаемое время. Впрочем, Родион очень едко подметил, что произведения о технике живут, пока не высохла краска на холсте, и по мере развития социалистического производства и приближения к коммунизму будут диалектически становиться карикатурами на могущество и героизм нашего народа. «Тут переменная функция, понимаешь? – значительно намекнула Поля. – И придется каждый год подновлять немножко такие произведения, чтоб не состарились».

Кроме того, по ее мнению, спрос на живопись должен значительно подсократиться в будущем, потому что при скоростном выпуске художественных произведений просто не хватит

музеев на земном шаре, и тогда придется хранить уже законченные сокровища в штабелях, на открытом воздухе; что же касается частного потребления... Она рассказала, что когда Павлу Арефьичу к шестидесятилетию поднесли портрет магнитогорского металлургического комбината во многих красках и с массой труб, он тут же передал его в только что открывшийся клуб текстильщиков, у себя же на стене оставил прежнюю *цыганочку*. «Представь, губастая дивчина в монистах и с бубном, а ведь, казалось бы, такой передовой человек!» Однако все идет к лучшему, успокоила Поля свою подружку: именно тогда-то общество и кинет армию художников на оформление социалистического быта – жилищ, одежды, утвари, самых обыкновенных вещей, повседневно, и не менее чем книги, воспитывающих вкус, эстетическую требовательность и, в конечном итоге, моральный уровень тружеников.

– Я твердо верю, Варя, что коммунизм призван истребить боль, зло, неправду, то есть все некрасивое, бесформенное, низменное... и, значит, коммунизм, кроме всего прочего, есть совершенная красота во всем, – несколько менее связно, из-за отсутствия Родиона под рукой, распространялась Поля, а Варя с тревогой и не без удовольствия прислушивалась к этим крепнущим голосам из завтрашнего дня. – Запомни мое слово, Варя: любое, самое скромное изделие, кроме марки завода, будет носить и метку мастера, так что о нем будут писать рецензии, как о книгах и спектаклях. Именно поэтому хорошо обработанная капитель общественного здания нужнее десятка посредственных картин, содержание которых зачастую дешевле и умней выразить типографским шрифтом. Ну и влетело нам с Родионом от ребят за эту крайность... Теперь брани ты.

– Видишь ли, я не могу решить это сразу, – отвечала Варя, поглядывая на часы. – И ты рассуждаешь так, словно коммунизм уже построен, а ведь имеются еще злые люди, которые хотели бы отнять у тебя право на будущее. Я поняла твою мысль, твой протест против перегрузки художественной ткани утилитарными заданиями, но... не надо сердиться, если художника приглашают поработать сперва над оформлением общественной мысли, прежде чем приступить за оформление вещей. Конечно, кистью работать приятней, чем лопатой, но все же лопатой – легче, чем ружьем... правда? – Она всегда перемежала свою речь паузами, чтобы ее воображаемые маленькие собеседники успевали следить за нею.

Спор углубился, Поля пыталась возражать. В конце концов не поверхностным изложением идеи, а лишь глубиной постановки вопроса и совершенством исполнения удавалось искусству прошлого прославить свою эпоху. Она называла имена, стили, отдельные произведения, и можно было сделать вывод, насколько разносторонним, кроме своей любимой математики, был ее Родион. Приятельницы поладили на том, что чем значительнее нагрузка на искусство, тем выше должно быть его качество.

– Да откройся же наконец... куда ты собираешься идти?

– В архитектуру... а что? – покосилась Поля, облизав пересохшие губы.

Варя в раздумье поправила уголок клеенки на столе. Ей не хотелось отговаривать, она лишь намекнула, что, требуя мастерства от художников, она забывает про тройную ответственность зодчих, чьи каменные творения нередко, к сожалению, переживают все остальные памятники эпохи. Можно не читать торопливых, недобросовестных книг, не посещать дурных спектаклей и выставки посредственных картин, но люди не могут ходить с закрытыми глазами по городам, застроенным плохими зданиями.

– Впрочем, Аполлинария, если ты чувствуешь призвание в себе и силы... Ты привезла какие-нибудь свои художественные работы? Покажи.

Раскидывая платья и белье, Поля достала со дна чемодана рисунки, сделанные на картонках канцелярских папок и меловых обложках старых журналов.

– Только чур, не смейся... ладно? – и со страхом ждала приговора.

– Ну что ж, это совсем неплохо... из тебя, пожалуй, выйдет толк. – Уже Поля протягивала ей второй и третий, а Варя все держала первый, оказавшийся сверху. – И знаешь... подарика мне вот этот, ладно?

– О Варька, я сделаю тебе гораздо лучше! – обрадовалась Поля успеху своего первого испытанья.

– Нет, мне хочется именно этот, – и неожиданная для нее краска смущения выступила в Варином лице. – Он очень похож тут. Как живой, если бы не эти закрытые глаза. Это Коля Бобрынин?

– Нет, что ты! – ужаснулась Поля. – Это же Антиной.

– А-а... – облегченно вырвалось у Вари. – То-то меня поразило, что у него зрачков нет, как у мертвеца. Но все равно, я отбираю это у тебя на память о первых шагах архитектурной знаменитости.

Не дожидаясь авторского согласия, она сунула рисунок в ящик стола и, чувствуя на себе вопросительный взгляд подружки, самым невозмутимым тоном спросила что-то о Родионе. Маневр удался на славу, и Поля по детски забыла про этот незначительный эпизод. О, Родион... если бы Варя знала, как он вырос за последний год! Лошкаревские педагоги просто избегали спрашивать у него уроки, потому что он отвечал с обстоятельностью, которой они не в состоянии были проверить, и сам задавал вопросы, заставлявшие их терять душевное равновесие. Между прочим, он наполовину решил одно головоломное уравнение, над которым бились самые головастые математики прошлого века, да так и не добились ничего. Кстати, за два дня до ее отъезда Родион уехал в Казань для поступления на физико-математический факультет.

– И ты, пожалуйста, не шурься, Варька, но представь себе, этот долговязый мальчуган вздумал утверждать передо мною...

– Ладно, ты мне доскажешь потом историю вашей ссоры, – прервала Варя, поднимаясь. – Какая у тебя программа на сегодня? Может быть, съездишь со мной на биологическую станцию?

– Мне надо сделать кое-какие покупки, – уклонилась Поля.

– Отлично. Тогда обедать будем вместе, в шесть. Будь добра, не опаздывай и не заблудись. Во всяком случае, я подожду тебя с обедом.

Разговор закончился вовремя: электрический чайник уже закипел на столе, а через край ванны тоненькой струйкой начинала переливаться вода.

## 3

Поля еще в дороге составила расписание действий, куда входило посещение театров, художественных галерей, архитектурных памятников и, в первую очередь, Мавзолея Ленина, этой заглавной страницы в большой книге, куда предстояло и ей вписать собственное имя. Но список был рассчитан на длительный срок до начала занятий, и, перед тем как приступить к генеральному обходу столицы, ей хотелось привести в исполнение некоторые свои ребячьи причуды, за последние полгода сложившиеся в неодолимую потребность.

У Родиона на чердаке, где из голубятни открывался богатейший вид на Енгу и где втайне от всего мира читал он Поле свои стихи, среди пыльной рухляди и в кипе дореволюционных еженедельников она наткнулась на часто повторявшееся объявление одного профессионального астролога. Будучи в близких отношениях с потусторонними сферами, он за рубль девяносто пять копеек почтовыми марками предсказывал будущее, произвольно умножал доход клиентов, отрачивал на плешивых незаурядные волосы, бесследно изгонял страдания, бессоницу, вредных насекомых, детские пороки и совершал многое другое, что может придумать проголодавшийся плут с небогатой фантазией. Судя по напечатанному сбоку изображению сравнительно моложавой личности в чалме и с исходящими из чела молниями ясновидения, ему теперь было бы не свыше шестидесяти, и если только за годы революции не оказался замешанным в менее благовидные предприятия, он вполне мог бы сохраниться и до нынешнего дня. Поля сберегла пожелтевший адресок с намерением утолить при случае свое законное любопытство безгрешно-чистого существа к биологии и быту вчерашней жизни. Именно ввиду того, что уже не застала в своей стране отживших профессий – царей и банкиров, водовозов и свах, – а факир этот был единственным из обломков прошлого, доступным для обозрения, ей представлялась последняя возможность под выдуманном предлогом постучаться к нему в дверь и с тем же смешанным чувством почтения и страха, с каким разглядывала палеонтологические древности у Гвидоненки, заглянуть в тусклые, как бы непромытые спросонья очи таинственного *старого* мира.

Вторым того же рода предприятием был у Поли намечен визит к отцу. Она не была знакома с ним даже по фотографиям, а мать, видимо из нежелания ворошить прошлое, воздерживалась в присутствии дочери от оценок своего бывшего мужа. Однако, судя по редким и всегда недоброжелательным статьям в специальной печати, это был угрюмый, несговорчивый, устаревшего мировоззрения человек, далекий от понимания задач современного лесного хозяйства... и дай бог, чтобы описываемые там промахи да ошибки получались у него бессознательно! Надо думать, в сочетании с неуживчивыми чертами характера это и стало причиной распада семьи. Не желая вникать в обстоятельства той загадочной истории, Поля безоговорочно принимала сторону матери, фельдшерицы в межрайонной больничке, незаметной и всеми уважаемой труженицы. Кроме печатных отзывов, в основу заочных Полиных представлений об отце легло одно краткое, как промельк при свете молнии, воспоминание раннего детства.

Всякий раз, когда среди душной летней ночи слышала замирающий клик паровоза, в Полином воображении неизменно возникали пузырьки горьких лекарств, выпуклые очки с колючим блеском на массивной золотой оправе и за ними выцветший, безразличный взор человека, склонившегося над ее кроватью; Поля болела корью перед самым бегством Елены Ивановны в Енгу. Ни у кого в Лошкареве не имелось таких дорогих очков, на самом деле принадлежавших врачу и ошибочно отнесенных к Вихрову, и примечательно, как самый металл их, условиями воспитания и ходом политических событий скомпрометированный в глазах комсомолки, определял дальнейшее развитие и не очень благородное содержание этого образа. Постепенно предубеждение против отца превращалось в жгучую потребность отомстить за



мать, высказать в лицо ему честное комсомольское суждение о людях подобного сорта... Еще дома Поля не раз упоенно рисовала себе, как однажды сквозь анфиладу парадных, устланных коврами комнат, мимо горничных в раскрахмаленных наколках она войдет в полутьму профессорского святилища со старорежимной несдвигаемой мебелью, с плюшевыми гардинами, пропитанными развратным запахом сигар, с чернильным прибором под раскинутыми крыльями двуглавого бронзового орла... С порога и без поклона, не садясь, она поблагодарит пожилого обрюзглого господина, привставшего над письменным столом, за то, что тринадцать лет без судебных напоминаний высылал деньги на ее прокорм... И вот дочка пришла сказать, что выросла и стоит перед ним налицо, так что не было с маминой стороны какого-либо вымогательства, скажем, на мертвенькую, хотя и сам за тринадцать-то лет мог бы лично удостовериться в существовании своего ребенка!.. И теперь, свободный от дальнейших обременительных отцовских обязательств, может он хоть водку пить, хоть в бубны бить. И затем она исчезнет навсегда, оставив отца вычерчивать свои тоскливые диаграммы годовых приростов у осины. О, только бы по-девчоночьи не разреветься при этом!

Однако с приближением цели все Полино существо начинало противиться задуманной расправе; причиной была не трусость и не брезгливая боязнь испачкаться через мимолетное прикосновение к дурному, а что-то еще, чего не умела выразить словами, может быть – опасение наткнуться на какое-то непредвиденное разочарование. Так что после ванны, часом позже спускаясь по лестнице, Поля совсем уж никуда не торопилась – в подсознательном расчете, что при благоприятных обстоятельствах у нее и времени не останется на свидание с отцом. Еще длились тополевая поземка в Благовещенском тупичке и праздник над городом, когда она выходила на простор магистральной улицы. Поля дважды повернула налево, попала в поток перекрестного движения, и вдруг все приметные ориентиры оказались потерянными, и стало ясно, что заблудилась в огромной волшебной сказке, о чем столько лет мечтала у себя в Лошкареве.

... Нет ничего заманчивей на свете, чем прогулка по незнакомому городу в восемнадцать лет – без присмотра старших, без боязни опоздать к уроку да еще с такими дополнительными радостями бытия, как пятьдесят рублей, выданных мамой на утоление самых необузданных желаний. Избранная Полей улица как раз изобиловала всякими соблазнами, и в одной из витрин полулежали в завлекательной пестроте книжные новинки, причем от одного созерцания заголовков уже как бы повышался культурный уровень прохожих, а в другой – шестнадцать выдающихся мастеров с помощью научных достижений завивали шестнадцать столь же выдающихся красавиц, а в третьей матово светилась такая чудесная и любых размеров алюминиевая посуда, что невольно возникало раздумье, как обходился род человеческий до открытия этого великого материального благодеяния. И почему-то цветов на улице уже не было, распродали, зато на всех углах красовались теперь эмалевые тележки со стеклянными флаконами, и всякие ответственные работники вокруг задумчиво потягивали из бокалов цветные воды, сообразные их складу души и настроению. Страшная сила повлекла, туда и Полю, потому что еще пылал летний день, но, пока искала в сумке подходящую монетку, две небесного цвета цистерны низким дождичком пробрызнули застойную, с бензиновым перегаром духоту, и таким образом Поле удалось сбересть мамины деньги для более существенных затрат.

Она мужественно пыталась миновать искушения, но они догнали, одолели – мороженое на лучинке, ранняя черешня, засахаренные орешки... и опять, из-за нового ее платья, что ли, ей везло на хороших людей. Так, например, стрелка весов в кондитерском магазине показала двести десять граммов, хотя в кассу было уплачено лишь за двести, и продавщица не пожелала вступать в пререканья по этому поводу. Когда же Поля зашла послать две совершенно необходимые и с одинаковым текстом телеграммы «Поздравляю тебя с началом жизни», одну по совершенно секретному адресу, в Казань, а другую самой себе, в Варин тупичок, для придания дополнительной праздничности этому необыкновенному дню, то сдачу ей выдали самыми

новенькими, еще хрустящими бумажками. Снова не удавалось Поле справиться с уймой мелких распадающихся свертков, и меланхолический аптекарь, верно какой-нибудь несостоявшийся алхимик, сам предложил ей увязать покупки в один пакет... Итак, Поля шла, и жизнь ей представлялась чудесным эскалатором из сказки: стоило лишь вступить на начальную ступеньку, чтобы через положенное количество лет, не успеешь дух перевести, оказаться на самом верху. И действительно, в ее стране имелось все необходимое для счастья – и различные пальмы, и апатиты, и отзывчивые человеческие сердца; она шла, и люди навстречу ей попадались только веселые и нарядные, уж такая была эта улица, и теперь Поля сама улыбалась всем, даже подвыпившему точильщику с его деревянной машиной на плече; она шла, отдаваясь царившему вокруг всеобщему возбуждению, происходившему, наверно, от сознания громадного простора впереди и манящей новизны всего на свете, кроме лишь стареньких *рыжиков* или *рваников*, как ласкательно за верную службу называла свои разношенные туфельки. И едва вспомнила о них, тотчас в нише необыкновенного нарядного дома объявился могучий и черный, весь как бы из щеток составленный волшебник, возвращающий обуви молодость.

– Весь сияешь... Вижу, замуж идешь, красивый товарищ?

– О, еще... в тысячу раз лучше! – смеялась Поля, следя, как сквозь колдовское мельканье рук проступает зеркальный блеск на потрескавшейся рыжей коже.

Она уже не замечала времени, и вдруг ей показалось, что расшалилась не к добру. Правда, она подсчитала в уме, что три часа непрерывного блаженства обошлись ей всего по двадцать четыре копейки за минутку, но зато теперь следовало подсократиться в темпах, чтоб во всеоружии встретить какой-нибудь главный и притаившийся за уголком соблазн. Очень кстати станция метро оказалась рядом, и, перебегая с одной платформы на другую, Поля принялась кататься по всем доступным пока маршрутам, потому что и метро входило в список объектов, подлежащих осмотру и удивлению. Сверкающие поезда мчали ее во мрак тоннелей, и по пути, как во сне, то и дело вспыхивали голубые или нежно-розовые мраморные залы. Здесь могла бы Поля наблюдать, как осуществляется ее мысль об участии художника в оформлении общественных сооружений, но сейчас почему-то она не видела ничего перед собой, кроме массивного, как мясной прилавок, письменного стола с бездарной бронзовой чернильницей, – и по ту сторону ждал ее холодный, изготовившийся к поединку человек, *судьбою* назначенный ей в отцы. Поле все хотелось забраться от него куда-нибудь в противоположный конец города, подальше, но когда она на всякий случай назвала соседу адрес Лесохозяйственного института, на территории которого помещались вихровские апартаменты, оказалось, что ей надо сходить на ближайшей остановке. Пассажиры сразу расступились, давая ей проход к двери и к самой суровой правде... Это была конечная станция метро, эскалатора здесь не было. Людской поток вынес Полю наружу.

Только тут она заметила, какой – не то чтобы пасмурный, а душный и безвыходный стоял денек. Асфальтовый чад и пыль летней окраины охватили Полю. Город наступал здесь на изрытую, как после артиллерийской подготовки, равнину. Тракторные катки с урчаньем устилали дымящейся лавой ответвление шоссе, между пыльных картофельных полей, туда, где стройной чередой, сразу в дюжину корпусов, вылезали из почвы красноватые этажи. Один из чернорабочих этого индустриального наступления, отирая черную испарину с лица, показал Поле дорогу. До здания отцовского института, помещавшегося в загородном дворце старомосковского вельможи, было двадцать минут ходу по щебенчатой дороге, между опытных делянок и подсобных теплиц. Здесь у загорелого, как сама она, наклонившегося над грядкой практиканта Поля спросила, где проживают лесные профессора, и ей указали сразу два, через улицу, четырехэтажных каменных строения, с квартирами педагогического персонала. Чуть на отлете стоял третий, победнее, о двух этажах, деревянный, с угла на угол перевитый цветущим выюнком, и с навесом над входной дверью; в палисаднике сушилось штопаное белье на веревке. Странное чутье подсказало Поле, что ей как раз сюда и надо. Она дважды прошла мимо под-

текавшей водоразборной колонки, где мальчишки самозабвенно месили ногами желтую отличного качества грязь. Обстановка несколько не совпадала с представлениями Поли о роскоши отцовского быта: враждебное чувство пока не меркло, но уже покрывалось трещинками ребячьих сомнений. Еще оставалось время повернуть назад... но вдруг из глубины за рошей, где проходила окружная дорога, донесся петушиный, призывающий крик маневрового паровоза.

Тогда, подчиняясь неодолимой силе своей реки, Поля пересекла улочку с нестерпимо зеленой травкой, пробивавшейся сквозь булыжник, поднялась во второй этаж и безошибочно, вопреки всякой логике, позвонила у самой невзрачной двери, без ожидаемой медной дощечки с научными титулами Вихрова и даже в ключьях войлока, набитого для утепления восемнадцать лет назад, когда родилась она, Поля.

Ей пришлось дополнительно постучать кулаком. Брякнул засов, и в полутемной прихожей с фонариком на потолке Поля увидела некрупную, моложавую, верней – вовсе без возраста, профессорскую работницу с неестественно низко посаженной головой, в темном, пораскольниковски распущенном на плечи платке, как еще недавно повязывались все пожилые крестьянки на Енге. Это сбивчивое впечатление вскоре разъяснилось, и опять в сторону, противоречивую Полиным ожиданиям.

– Ой, какая же ты пригожая-то девонька... верно, с зачетом к Ивану-то Матвеичу? – приветливо догадалась горбатенькая, снимая мыльную пену с рук. – А профессор-то наш, непутевый, третьевось в тульские Засеки со студентами укатил... ишь грех-то какой! – Она приласкала взглядом незнакомую девушку, украдкой любуясь то ли свежестью ее, то ли робостью. – Что-то не припомню я тебя... видать, новенькая?

Так было даже лучше для Поли: прийти, утолить любознательность и уйти неузнанной; от первоначального плана не оставалось и следа.

– Я как раз новенькая... – кивнула Поля и улыбнулась через силу.

– То-то, я гляжу, руки-то дрожат. А ты не трясься, не зверь у нас Иван-то Матвеич. Эва, студенты-то души не чают в нем! Иные без дела, ровно в клуб, по субботам к нему забираются. – Она сообщала это с такой безыскусственной простонародной приветливостью, что нельзя, бессовестно было бы не верить каждому ее слову. – Сымай свою шляпочку, складай свои вещицы, у нас не украдут... Обещался вернуться засветло. Нет чего хуже, как я гляжу, в другой раз на экзамент собираться. Пойдем, девонька, я тебя на хорошенькое местечко усажу, обвыкнешь пока, – прибавила она, замыкая дверь на засов.

Она пустила Полю вперед и не позволила на кухню заглянуть: «Нечего тебе чужую стирку глядеть!» – а провела прямо в кабинет и усадила в протертое, заслуженное кресло; впрочем, кухня приходилась из двери в дверь, так что Поле поминутно слышны были то размеренный стук корыта о раковину, то плеск сливаемой воды. Стоило повернуть голову – и Поля, не подымаясь с места, могла ознакомиться с расположением и содержанием обеих комнат вихровской квартирки.

Трудней всего Поле было привыкнуть к мысли, что каждая пядь этого скрипучего, крашеного охрой пола была когда-то на коленях исползана ею, маленькой. Без сомнения, в былые годы детская у молодых Вихровых могла помещаться только в соседней, – гораздо меньшей, но самой веселой и солнечной из всех. Там в углу непонятно, подобно сметенному сору, лежали всякие разобранные механизмы, и виден был часовой токарный станочек на верстаке. Кроме того, накрытый тряпицей от пыли, висел мужской костюм на стене, железная кровать стояла под байковым одеялом, а из-под нее, сломясь в голенищах, выглядывали аккуратные, вроде и не отцовские сапоги, – как успела разглядеть Поля, вихровская койка помещалась за книжным шкафом в самом кабинете. Значит, завелся тут кто-то третий, и тогда у Поли впервые родилось ревнивое желание хоть глазком взглянуть на человека, занявшего ее место у отца.

– Не скушно тебе там одной-то, девонька? – время от времени спрашивала горбатенькая с кухни.

– Нет, ничего, в самый раз, – стараясь попадать в тон ей, отзывалась Поля.

Все рушилось у Поли: обстановка квартиры до такой степени противоречила придуманному заранее, что казалась почти нищей, хотя здесь имелось все необходимое для жизни и работы, только с явным подчинением первого второму. Не было здесь плюшевых гардин, да они и не обязательны для жилища, где хозяева, по лесному обычаю, встают и ложатся со светом; не только золота не виднелось нигде, но и старинных, с позолотой, фолиантов, живописно нарисованных враждебным воображением, книг-олимпийцев, свысока, сквозь зеркальные стекла наблюдающих бесполезную суету смертных. Лишь настоящему ученому нужны именно такие книги-труженики, с оборванными корешками и полосками исписанных вкладок: их можно марать заметками, совать в рюкзак перед экспедицией, даже употреблять для баррикадного боя, тем более что все не уместившееся на дощатых прогнувшихся полках громоздилось на подоконниках и даже подпирало потолок, увязанное в плотные, непробиваемые блоки. Как всегда, изощренная логика предубеждения неохотно отступала перед ясной логикой жизни... и тут Поле открылось, хоть и не сумела бы выразить это словами, что жизнь всегда умней и убедительней любых выдумок, какими люди из различных побуждений стремятся умножить красоту правды или усилить уродство зла.

По обиходу опрятной, двусветной комнаты, где сидела Поля, можно было сделать кое-какие выводы о характере ее хозяина. Наверное, то был жесткий к себе человек, не очень умелый в устройении собственного быта. Скупой на время, он не признавал никакой литературы, кроме той, которая помогала ему добиваться истины в его науках, но, судя по названиям книг в ближайшем шкафу, он отправлялся за нею в самые отдаленные области знания. Немало и сам он побродил по России, чему свидетельством были десятка два деревянных изделий, каких за любые деньги не купить в столице, – резная спинка северной прялки, маленькая поэма в дереве, вологодский туес с киноварным всадником на бересте, гроздь расписных тамбовских ложек цвета старого меда, по заказу долбленные чаши из березового и орехового капа, чьей-то слепотой оплаченный резной ларец, пара изысканных девичьих, лощеного лычка, лапотков с деревенской золушки и другие бесхитростные сокровища, мужицким гением добытые в русском лесу. Ничто не указывало на какую-нибудь личную прихоть Вихрова, кроме, пожалуй... И тут, легонько приподнявшись, Поля разглядела за стопкой рукописей вещь, отливавшую настоящим золотцем и единственную здесь, на какую польстился бы вор. То была дорогая, в размер открытки, чеканной бронзы рамочка для любимого существа, и Полю соблазнила возможность без труда разведать кое-что о нынешних привязанностях Вихрова.

– То-то гляжу, незнакомая... постарше-то я всех знаю, – снова и снова начинала из кухни горбатенькая, стуча корытом в стенку. – А ты жизни-то не трусь... ничего с тобой сверх того не приключится, что тебе отпущено. И экзаменты свои сдашь, и на работу укаатишь, и деточек народишь, и станешь ровно яблочко печеное, вроде меня, и посмеешься былым горестям своим. Ты что же, лесоводство пришла сдавать али таксацию?

– Нет, я таксацию, – машинально повторила Поля неизвестное ей слово.

Чтобы скоротать время, горбатенькая спрашивала и еще что-то, а Поля отвечала наугад, не сводя глаз с золотого блеска на столе. Любой ее шорох вызвал бы подозрение на кухне... но, значит, река всегда сильнее былинки. Поле удалось неслышно достигнуть отцовского стола. Рамка оказалась тяжелая, литой бронзы, и под стеклом находилась отличная, образец любительского мастерства, фотография молодой, неподдельно очаровательной женщины. В промокшем, облипнувшем сарафанишке, верно после летнего ливня, она сидела на гигантском пне, напоминавшем трон лесного владыки, причем откол служил ей высокой, готической спинкой, и безудержно смеялась с закинутой головой, как возможно это только при друзьях, после веселого приключения, и в самой ранней, беззаботной младости. Кто-то, лишний в этом документе и наискось отрезанный Вихровым, протягивал цветущую калиновую ветку, и рябое солнце пополам с брызгами дождя сеялось на голые ноги женщины с соскользнувшим грубым башма-

ком, на выдавшиеся вперед ключицы, потому что подпиралась руками при этом. Поля сперва узнала место, – только на Енге еще встречались подобные растительные исполины; потом с холодком восторга она признала мать. Документ относился ко времени до замужества Елены Ивановны, когда та звалась просто Леночкой. И оттого, что никогда Поля не видала матери в такой легкой, почти беспечной радости, ею овладело необоримое желание тайком вынуть фотографию из-под стекла и унести с собою.

Она и сделала бы это, если бы скрип половицы не заставил ее обернуться. С порога, нащурясь и по деревенски подпершись ладонью, на нее улыбалась горбатенькая.

– Поленька... что ж ты мне сразу-то не открылася, Поленька? – мягко, чтоб не спугнуть застигнутую врасплох, попрекнула она. – Аль ты меня не признала? Ведь я Таиска, сестра Ивана-то Матвеича... Таиска я, не помнишь? – еще поразборчивей назвалась она в надежде, что звук ее имени пробудит в Поле детскую признательность к первой няньке, но ничего, кроме растерянности и смущения, не отразилось в Полином лице, а та не посмела обнять племянницу влажными руками. – Да ты взглядишь в меня, девонька!.. Чего там отыскала?

– Я тут маму свою нашла... – откликнулась Поля и поняла ошибку в определении возраста Таиски: лицо ее и впрямь походило на яблоко, только до срока сорванное, обвявшее, подсохшее на ветру, но что-то девичье, нерастраченное еще сохранилось в ее взгляде.

– Да и где меня запомнить, уж столько годов! – продолжала та, и морщинки заструились вокруг ее глубоко запавших глаз. – Ведь мы с тобой и не прощались. Ивана-то как раз в командировку услали... тут тебя Леночка и увела с собою. Так в одну ночь все у нас и свернулось, как молочко... – Вдруг она засуетилась, всплеснула руками, стала на столе прибирать, чтоб чайком напоить гостью.

Как это в обычае у простых русских женщин, хотелось Таиске всплакнуть немножко и в обнимку до ночи просидеть, перебирая события невозвратных лет... Но после сделанных об отце открытий Поле было впору бежать отсюда без оглядки. Она старалась не думать, что означала находка на отцовском столе: и без того каждая лишняя проведенная здесь минута казалась ей изменой маме.

– Я сыта, и мне ничего не надо. Я ведь мимоходом забежала, в милицию прописываться шла... – твердила Поля без разбору, что в голову придет.

– Так ведь не разоришь ты нас, Поленька, мы богато живем. А к отцу-то можно и непрописанной... Ишь кто-то по лестнице подымается, не Иван ли: вот и пообедаете рядком. Давай, говорю, шляпку-то, я ее на гвоздь! – и, как когда-то, ногой притопнула на непоклонную, но Поля не отозвалась на шутку, и та отступила, померкнув. – Где ж ты, доченька... аль у чужих людей где приткнулась?

– Нет, я у своей подружки старинной остановилась... – и опустила голову, защищаясь от ее глаз.

Тогда Таиска приняла рамочку из ее рук и бережно вернула на место.

– А можно бы и у отца... Эка квартирища, хоть табуны в ей гоняй, а жильцов трое всего! По утрам, как в лесу, перекликаемся...

– У меня все есть, мне ничего не надо, – упорно повторила Поля. – Так что вы не сердитесь на меня, Таисия... Таиса...

Она сбилась и замолкла.

– Матвеевнй меня зовут, – с холодком подсказала горбатенькая. – Отца-то твоего, вишь, Иваном Матвеичем, а я старшенькой ему сестрицей довожусь. И правда твоя, чего у нас хорошего. Живем в отдалении... в театр ежели, так трамваем на полтора целковых ехать надо. Да и то сказать, старики нонче кушные пошли, мору на них нет...

Она по-старушечьи, насухо, вытерла губы тыльной частью руки, отошла от двери в стору, как бы выпуская пташку на вольную волю, но подняла глаза на милую Поленьку и про-

стила ей черствую неблагодарность, такую понятную и по молодости и по давности истекших лет.

– Коли не желаешь отцовских-то харчей отведать, девонька, дозволю уж, какая есть, вкруг тебя посидеть.

И чтобы вторично не обидеть ясную и кроткую преданность Таиски, Поля примирилась с необходимостью подарить целый час престарелой тетке, для которой она была вдобавок и весточкой с родины. Горбатенькая сама была с Енги, повыше Лошкарева, из Красновершья, жила в людях в Шихановом Яму и у брата в Пашутинском лесничестве, так что Поле пришлось описывать все известные ей по району изменения за минувшее время. Она покорно села у окна, выходящего на учебную рощу института; молодые сосенки выстроились там по линейке, такие непохожие на своих вольных енежских сестер, точно присмирившие из опаски, чтоб не уволили их за нерадивость.

Как ни спешила Поля, разговор затянулся. На каждую мелочь Таиска отзывалась ответным воспоминанием и, не сдержавшись, обронила наконец три скупые слезинки о том, что хоть и грустное, а не воротишь. Слушать ее было интересно и немножко жутко, потому что каждое мгновение Таиска в душевной простоте могла обмолвиться о чем-то самом главном, приоткрыть семейную тайну Вихровых, чему ревниво и целомудренно противилось все Полино существо.

Чтобы отвлечь в сторону нежелательный разговор, Поля высказала вслух догадку, что раньше, *тогда*, этих сосенок в окошке не было. Оказалось, дендрарий был заложен при самом основании института, но действительно четыре гектара на правом крыле, уничтоженные на дрова в годы гражданской войны и разрухи, Иван Матвееч подсаживал самолично вскоре после перевода в Москву.

– И в ту пору они стояли там... твоего росточку были, Поленька. Как водила я тебя туда гулять, ты с ними за ручку здоровалась, ёжичками звала. Разве упомнишь: годков-то!..

Нет, Поля еще помнила их, – только не глазами, а, пожалуй, поверхностью исколотых пальцев. И оттого, что Таиска принялась описывать, сколько Иван Матвееч жизни вложил в эту крохотную рощицу, она спросила у тетки в упор о том, что так мучило ее все время пребывания тут: за что же, если он *такой*, бранят ее отца?

– А как же, как же не бранить-то его?! – горько посмеялась горбатенькая. – За то и бранят, что лес бережет.

– От кого же он его бережет... от народа? – враз насторожилась Поля, и в голосе как бы струнка прозвенела, естественный отголосок постоянного стыда перед теми счастливыми, чьих отцов не бранят никогда.

– Не от народа, а от топора, Поленька. У топора глаз нету, – тотчас отвечала Таиска. – Железный он, на рукоятку надетый.

– Интересно, как же ему стеречь его приходится, лес... С ружьем, что ли, вокруг ходит?

– Разве обойдешь его весь-то! Вот он и пишет книжки про то, что все меньше остается лесу у нас. Сама же сказала, что уж за Пустошю принялись... Да ведь кабы он еще тайком зудил, отец, а то ведь все книжки у него проверенные и от начальства дозволенные...

– Постойте-ка... – перебила Поля, неподкупно отстраняясь от протянутой к ней руки. – Я только спросить хочу, кто же, ведь народ хозяин лесу-то? И потом: известно ли Ивану Матвеечу, какая стройка идет в стране... и зачем его рубят, этот самый лес?

Тонкими, некрестьянскими пальцами Таиска раздвигала на волокна какой-то подвернувшийся ей лоскуток.

– Видишь, Поленька... ведь он лесник, отец твой. Дело его такое, раз он к лесу приставлен. Скажем, заболела ты... и нежелательно, скажем, Леночке тебя в постельке видеть. Вот и сбредет иной доктор-то в угоду матери, что ты здоровенькая. Ему-то что, ты ему чужая!..



Так ведь за такую неправду взашей гнать его надоть али даже в казенный дом сажать о сорока решетчатых окошечках... не так ли? Вот и он обманывать народа своего не желает...

Иначе объяснить она не умела, да и у самого Вихрова ответ на Полин вопрос занял бы слишком много времени, каким, к несчастью, не располагала ни Поля, ни, судя по всему, ее страна. Таиска потерянно улыбалась, как повинную опустив голову. Она переставала узнавать свою Поленьку в этом гневном, вдруг таком непримиримом существе, хотя, с другой стороны, и самой Поле показались поспешными черные обвинения, брошенные на Вихрова.

– Конечно, мне трудно судить обо всем этом с налету, – оговорила она, вся в пятнах смущения. – Я как-то не представляю его совсем.

– Пойдем тогда, я покажу тебе твоего отца, – тихо сказала горбатенькая.

За руку она подвела Полю к стенке, где в фанерной любительской рамочке висела большая, человек на шестьдесят, групповая фотография, снятая давно, при очередном выпуске молодых лесоустроителей. Участники торжества были расставлены лесенкой, наподобие хора перед исполнением юбилейной кантаты и с тем лишь различием, что басы, которые поплотней и посердитей, довольно просторно сидели на стульях впереди, а один, явный регент с брюзгливыми усами, – даже и в кресле; прочие же с заметным уплотнением размещались в высоту, так что самые верхние стояли уже чуть спрессованные, вплотную и плечиком вперед. Неуместившаяся часть аспирантуры и служительский персонал с независимым видом полулежали на переднем плане, но Вихров, хоть это и было лет пятнадцать назад, уже самостоятельно сидел, правда – пока еще крайним справа и опершись на чужое колено, чтоб попасть в поле объектива. На каждую личность приходилось не более квадратного сантиметра, но Поля отлично разглядела отца; ей даже почудилось, без особой, впрочем, уверенности, что однажды и не так давно она не только встречалась, но и беседовала с ним, однако самых обстоятельств припомнить уже не могла.

То был некрупного роста, сухощавый человек с бородкой, отпущенной по старым традициям лесного ведомства, с большими взлохмаченными бровями, круто приподнятыми вспышкой какого-то внезапного осенения; косой пробор с оторвавшейся на лоб прядью придавал ему внешность мастерового полуинтеллигентной специальности. Он ничем не походил на *того*, ненавистного ей, ожиревшего в довольстве, Вихрова.

– Теперь-то похуже он стал, мой Иваша, обносился... не король. Годы-то туды идут, милая, а не сюды!

Поля помолчала.

– Скажите, он носил когда-нибудь очки... золотые?

– Никогда. У нас, у Вихровых, все и без стекла глазастые, а к чему тебе?

– Так, воспоминание одно... Это он сам рамочку выпиливал? – отходя, спросила Поля.

Таиска правильно поняла, что ее вопрос выражал лишь степень ее замешательства. Нет, рамочку мастерил сынок Ивана Матвеича, Сережа, появившийся в их семье вскоре после Леночкина отъезда. По отзывам горбатенькой, это был славный паренек, одногодок Поле; он и занимал теперь угловую, бывшую детскую Вихровых.

Вот так же весной бывает на речной пойме, когда после спада вешних вод клочками проступают в разливе знакомые полуобсохшие островки. Постепенно, по каким-то ускользящим признакам, Поля узнавала отцовскую квартиру. Одну из полок сверху донизу занимала коллекция разнопородных, с продольными и торцовыми шлифами древесных брусков, вначале принятая Полей тоже за книги. В сущности, то и были книги о почвах и климатах земли, только очень емкие и лишь ученому доступные для прочтения. И как полтора часа назад паровозный гудок, теперь запах сухой древесины повел Полю назад, в детство. Обострившимся зрением она глядела сквозь холщовую, свисавшую до полу карту советских лесов и видела за ней, без красок, как во сне, другую комнату, потемней и поменьше... и там, на чем-то пушистей травы, она сама воздвигает башенки из деревянных кирпичиков.

– Здесь дверь должна находиться, за картой... можно мне туда? – с внезапным речевым затруднением спросила Поля.

– И верно, угадала, быстроглазая ты моя, – обрадовалась Таиска. – В твою-то пору там спальенка ихняя помещалась, родителей твоих... нынче ее садоводу Дидякину отдали с семейством. Ничего, человек бесшумный, непьющий – вроде Ивана, покладистый. – Она размашисто оправила платок и вздохнула. – Раздумаешься этак-то... жить бы им вместе годков тыщу, пока очей в одночасье не закроют, а вишь как обернулося!

Следовало ждать, что сейчас тетка приподымет последний пласт памяти и покажет родительскую тайну, пахнущую запретным тленом. Поле стало тошно и жутко, она потянулась за шляпкой. Напрасно уговаривала ее Таиска посидеть до отца, посмотреть забытые Леночкины вещи, заботливо сбереженные ею для законной наследницы. Вниз по лестнице спускалась через ступеньку; запыхавшаяся Таиска догнала племянницу на улице, чтобы отдать забытые свертки.

– Ты уж навести нас еще хоть разок, девонька, – просительно шепнула она напоследок. – То-то праздник ему будет, старику!

– Непременно, вот устроюсь немножко и прибегу... – кивала Поля с решимостью не возвращаться на это место никогда.

## 4

Домой Поля отправилась пешком, чтобы выветрить из себя жестокую путаницу чувств и догадок; на полдороге ее, обессиленную, подхватило метро. Потом она шла по той же улице Веселых, как она мысленно окрестила ее в еще не написанном письме к матери, но теперь люди ей попадались только пожилые, озабоченные, с глазами, устремленными в себя. Поля так устала, что на обследование факира вовсе не оставалось ни охоты, ни сил.

Варе она ни словом не обмолвилась про свое путешествие в детство, – просто ей захотелось совершить кое-какие последние шалости, еще допустимые сегодня и уже предосудительные завтра.

После обеда занялись разбором Полиных покупок, и Варя лишь головой покачивала на причуды младшей сестренки, всего на полдня оставленной без присмотра.

– Мне просто плакать хочется, глядя на тебя, Польшка! Среди лета варежки зачем-то приобрела... ну ладно, зимой их может и не оказаться в продаже. Я даже согласна простить тебе эти детские кастрюльки, – они... приятные. Но куда тебе столько мыла? И потом... ты что, миллионерша, самое дорогое покупать?

– Мне, знаешь, оно так по цвету понравилось! – подкупающе улыбнулась Поля. – Посмотри, какая чудесная гамма получается...

– Отказываюсь понимать. А ландышевые капли... разве ты больна?

– Видишь ли... У них такое красивое название!

– Пора тебе за ум взяться, Поля... Как-никак ты уже наполовину студентка, – рассудительно выговаривала Варя. – Ну, подумай, кто порешится такому легкомысленному существу поручать стройку жилого дома! Теперь объясни по крайней мере, как ты намерена применить в своей будущей деятельности купленный тобою словарь итальянского языка?

– Ну, знаешь ли! – не на шутку вспылила Поля – Жизнь широка, и никому пока не известно, что ему пригодится впоследствии. Да ты сама-то можешь предвидеть, что тебе самой потребуется через полгода? А вдруг меня pošлют, скажем, во Флоренцию, для изучения архитектуры... что я буду делать там без языка?

О, разумеется, все это можно было достать и у себя, в лошкаревском кооперативе, но там у товаров не было оттенков московской новизны, и все они слегка припахивали сыростью кожей либо керосинцем.

– Кстати, телеграмм мне не было? – с деланным равнодушием спросила Поля.

Их оказалось шесть, и в одной, кроме Павла Арефьяча, расписались все ближайшие соседи со псом Балуюем в самом конце, две – от подруг, четвертая – своя; от мамы имелась отдельная. Шестая, самая сдержанная, всего в три слова, пришла из Казани, и, судя по цифрам в уголке, отправлена она была в тот же час, когда и Поля стояла у телеграфного окошка. Все поздравляли ее со вступлением в совершеннолетие, и Поля зажмурилась от счастья: отлично жить на свете, когда ты в нем не одна. И как смешно, что мамочка перед отъездом пугала ее ужасами столичного существования...

– Дуется несчастный Родиошка, всего на три слова расщедрился!.. На всякий случай я ему все же напомнила телеграммой про день рождения, чтоб не забывался. Неизвестно, как там дальше сложится, но пока парадом команду я... – И, обхватив подружку, Поля закружилась с нею, насколько это было возможно в тесном проходе между кроватью и столом.

То был неповторимый вечер, каждая подробность его представлялась впоследствии клочком драгоценного сновидения. А так как нельзя в такой праздник обойтись без гостей, Варя постучала соседке, и попозже, уложив внучку, та зашла поздравить Полю с новосельем.

Втроем, не зажигая света, они пили чай с вареньем, черешней, засахаренными орехами и, когда было обсуждено все, от покроя новых платьев до событий в Западной Европе, сидели молча, глядя на Полин букет, подсвеченный отблесками закатных облаков.

Наталья Сергеевна ушла поздно; перед сном Варя поделилась вполголоса скудными сведениями о своей соседке. Жилыцы дома в обиходе между собою звали ее дамой трэф: седые волосы, валиком уложенные на голове, оставляли впечатление короны. Она и ее внучка были единственные, уцелевшие из когда-то обширной семейной колоды. Догадывались, что она не легко расплатилась за легкость прежней жизни, но никто не слышал от нее жалоб, даже когда месяца два назад в уличной катастрофе погибла ее дочь, секретарь в одном лесонаучном учреждении; по слухам, бабушке с Зоенькой предстояло выселение из ведомственного дома... В общем, Варя почти ничего о ней не знала.

– Наверно, она была красива в молодости, – вслух подумала Поля уже в кровати.

– Да... – откликнулась Варя, глядя в синюю пропасть за балконной дверью. – Кстати... мне писали, что Коля Бобрынин женился. Это правда?

– Еще прошлой осенью! Ему давно нравилась Нина Цыпленкова. И занятно... года два назад мы играли в *желанья*, и он написал мне в записке, что хотел бы иметь сердце из нержавеющей стали, хвостун! А на поверку бросил ученье, комсомол и в церкви с Нинкой венчался. Да еще Родиона в шафера приглашал... ты понимаешь, наглость какая?!

– Ну, видишь ли, всякое случается с людьми, – откликнулась Варя и зевнула, и Поля поняла, что это фальшивый зевок. – Завтра много дел, давай спать.

Они еще долго лежали без сна и молчали, каждая о своем. За балконом пошелестел теплый ночной дождик. Перед Полей плыли потускневшие лица и события дня. Видения распадалась тотчас по возникновении, и дольше всех держался в памяти паренек с вокзала. О, повторись ее приезд еще раз, теперь она проучила бы чумазого цыганенка за непрошеное покровительство! Она прогнала его, и на смену тотчас пришел Родион. Украдкой они поднялись на чердачишко, и потом он стал читать ей новые стихи, написанные уже после Полиного отъезда, чуть нараспев и прислушиваясь в паузах, не идет ли кто, потому что свою прикосновенность к поэзии считал слабостью, недостойной не только математика, но и любой мыслящей личности.

... В эту ночь немецкие самолеты сбросили первые бомбы на спящие советские города.

## Глава вторая

### 1

Профессор вернулся часом позже Полиного ухода, и сестра до ночи не решалась сообщить ему о посещении дочки. Цель своей незадавшейся жизни Таиска полагала в заботах о брате и в охранении его от всяких, как она называла, уязвительных огорчений. К брату Ивану она пришла однажды после пятнадцати лет разлуки, в бытность его пашутинским лесничим, пришла просить лесу на починку их завалившейся избыцы в Красновершье, но задержалась до ночи за пришивкой пуговиц к одежде холостяка, да так и прижилась навечно. Собственно, они были сводные, от разных матерей, так что вовсе не сознание родства или своей бездомности заставило ее впоследствии тащиться вслед за братом в столицу.

По безответной легкости характера, по исполнительности, по отсутствию сторонних привязанностей она везде пришлась бы ко двору, а с физическим несчастьем своим, случившимся еще в младенческую пору, давно свыклась, как другие свыкаются с богатством и красотой. К тому же она не шибко разбиралась в вихровских идеях насчет сохранения лесов, а просто пожалела его сперва, хромого и одинокого, а потом поверила в святость его дела, потому что не гнался, как другие, ни за быстрой славой, ни за личной корыстью. Они так сжились, в особенности после побега Леночки, что понимали друг друга с полуслова, и оттого в доме стояло постоянное безмолвие, столь удобное для писания всяких ученых сочинений. Обычно на исходе вечера Таиска заходила к брату условиться про завтрашний обед и обсудить события дня, а когда счастливо обходилось без событий, то отсиживали положенный срок в полном молчании, как делали это в старину енежские мужики на избяных завалинках, с потухшими трубочками, перед сном. Усыновление Сережи не изменило заведенного распорядка, и, пожалуй, именно эти вечера сплавили их, троих, таких разных, в дружную и прочную семью.

В тот раз Сережа задержался на работе, и на вечернюю посидку Таиска зашла одна. Ночные бабочки кружились вокруг настольной лампы, а сам Иван Матвееч, уже без пиджака, глядел в открытое окно на свой искусственный лесок, откуда влажная, как от реки, тянулась прохлада.

— Ладно уж, докладывай, что там у тебя приключилось, — сказал он через минуту, не оборачиваясь.

Никаких особых новостей у Таиски не оказалось, кроме одной, а именно, что в полдень забегал Грацианский, расспрашивал, куда и зачем укатил хозяин, причем, всегда такой скользкий, с холодающим смешком, он показался ей в тот раз озабоченным, как бы невыспавшимся, и обычного жальца не показывал, а, напротив, усиленно старался утешить старуху в ее недобрых предчувствиях. Действительно, визит его носил на себе некоторый оттенок чрезвычайности. Как часто бывает к старости, человек этот давно перестал быть вихровским другом, хотя и продолжал числиться среди его старых товарищей. Они вместе в 1908-м поступали в Лесной институт, и, если бы не двухлетняя административная высылка Вихрова из Петербурга, в 1911-м, вследствие чего и завершил образование лишь в самый канун первой мировой войны, они в один и тот же год вышли бы на служение русскому лесу. Однако эта вынужденная и в конце концов несущественная разница придавала Грацианскому видимость старшинства, навсегда удержавшуюся в их отношениях.

Собственно, судя по тематике их дипломных работ, в дальнейшем исключалась всякая возможность соперничества, однако их практическая деятельность протекала в тесном — не то чтобы соревновании, но в крайне обостренном, временами даже бурном, соприкосновении, что представлялось окружающим вполне естественным при полном несовпадении их научных воз-

зрений. В этой знаменитой полемике Вихров занимал пассивную позицию, не имея склонности ввязываться в публичный поединок с сильнейшим противником, однако было бы преждевременным считать вихровское поведение признаком слабости, высокомерным пренебрежением к указаниям, так сказать, старшего товарища или же добровольным признанием совершенных ошибок.

Никто не помнил, с чего началась эта поучительная, оставшаяся не освещенной для широких советских кругов, распря Вихрова с Грацианским, но с годами лесная общественность как-то привыкла ждать после каждой крупной работы первого не менее основательной по силе удара, даже с преимуществом безнаказанной страстности, статьи второго, настолько привыкла, что обычно рецензии на очередную книгу Ивана Матвеича не появлялись в специальной прессе, пока не высказался о ней сам Александр Яковлевич; в шуточных кулуарных разговорах это так и называлось *наколоть из Ивана щепы*. У любителей изящной словесности, несведущих в скучных вопросах лесостроительства, статьи эти, неуязвимые по силе формулировок, блистательные по стилю, вызвали похвальные сравнения с речами Жореса, памфлетами Марата и, как-то раз в одном иностранном журнальчике, – даже с филиппиками Цицерона против Катилины, после чего, к чести самого Александра Яковлевича, он целую неделю озибался и выглядел не только сконфуженным, но даже как бы смоченным чем-то неподходящим. Старые лесники помалкивали, чтоб самим не попасть под лупу обстоятельного разбора, но некоторые утверждали доверительно, что маленькие, порой всего на страничку, ругательные шедевры Грацианского не составляют вклада в большую науку. И действительно, как по соображениям доходчивости до читателя, так и секретности, профессор Грацианский обычно не приводил в своих статьях ни цифр, ни личных позитивных предложений; их подкупающая скромность в этом смысле даже слишком как-то бросалась в глаза. Но пускай и маловато в них было о самом лесе, пускай временами они лишь усиливали и без того запутанную лесную неразбериху, как о том шептались в закоулках вихровские единомышленники, раскрывая свою нетерпимость к обстоятельной критике, зато Грацианский всякий раз обнаруживал всестороннюю, к сожалению – кроме самого леса, эрудицию, разящий сарказм, а в последние годы и великодушную недоговоренность об истинных причинах вихровских заблуждений. Словом, из всех снисходительно-умеренных критиков Вихрова это был наиболее грозный, деятельный, осведомленный в мелочах вихровской подноготной и до такой степени удачливый, что за последнюю четверть века репутация Ивана Матвеича не просыхала ни на сутки. Перечисленные обстоятельства не мешали им встречаться, чаще всего на служебных заседаниях, и по праву студенческой близости сразиться иной раз на злободневные темки отечественного лесостроительства. В подобных случаях Грацианский проявлял к бывшему приятелю какую-то просветленную, даже братскую терпимость, сопровождаемую двусмысленно печальными вздохами, – дескать, мы-то понимаем с тобой, брат, напрасность взаимных огорчений, но что поделаешь: эпоха! И почему-то глаза у Грацианского раздваивались при этом, так что один проникновенно и, можно сказать, вполне перпендикулярно уставлялся в переносицу собеседника, другой же отъезжал в сторону и чуть поверх плеча, куда-то в не доступный никому тайничок... И все намекал на необходимость встретиться как-нибудь за бутылкой кисленького, однако к себе не приглашал, а собирался сам нагрянуть к Вихрову, чтобы уж разом обсудить скопившиеся мировые проблемы и, между прочим, вспомнить ту благословенную пору, когда вместе из одного котелка хлебали фасольную похлебку в одной греческой кухмистерской на Караванной. Истины ради стоит отметить, что, происходя из обеспеченной семьи профессора Санкт-Петербургской духовной академии, Александр Яковлевич никогда в кухмистерских не питался, да и помянутый грек подавал пищу исключительно на фаянсовых тарелках, но так выходило складней, нарядней для слушателя, а Иван Матвеич, к стыду его и невзирая на вскипавшее в нем глухое бешенство, ни разу не опровергал этого романтического, довольно частого у людей на склоне лет округления действительности.



Как бы то ни было, у Грацианского имелся незаурядный ораторский талант в сочетании с коварным умом и твердой, дробящей препятствия волей, впрочем – не всегда в согласии с вечно юным мятущимся сердцем. Именно он, Саша Грацианский, единственный из старых друзей, включая Чередилова и Валерия Крайнова, пребывавшего, впрочем, в частых отъездах, предлагал Вихрову деньги после его крупнейшей творческой неудачи в 1936 году, причем в довольно значительной сумме и как будто даже без отдачи... Эпизод этот, подкупавший проявленным в нем участием в судьбе поскользнувшегося товарища, заставил Вихрова призадуматься о противоречивом характере своего противника, полном неврастенических бросков то в непоказанную ему лесную науку, то в историю русского революционного движения, то, наконец, в политэкономия... он в ней и застрял без каких-либо заметных достижений, если не считать томика помянутых статей по такому ничтожному поводу, в масштабе его дарований, как вихровская особа.

В надежде доказать при свидании свою правоту Вихров наказал сестре запастись кисленьким, но вскоре после того, уже в центральной печати, Грацианский разразился самой убийственной из своих статей, где подводил итоги всем многолетним попыткам Вихрова лимитировать социалистическое строительство, и, значит, стремление к истине еще раз одержало в Грацианском верх над личными влечениями сердца, если уж решился назвать вещи своими именами. Тот заключительный удар, нанесенный под самое ребро недрогнувшей рукой и несмотря на старинное приятельство, в чем со стариковской горечью не преминул покаяться между строк, почему-то не завершился соответственными *оргвыводами* в отношении Вихрова, как говорили тогда – из-за вмешательства высших партийных органов. Однако очередной провал, естественно, настораживал вихровских единомышленников, отсекал у него часть колеблющихся друзей и учеников, раскиданных по всем лесам Союза, и самого Вихрова заставлял поразмыслить еще раз, правильно ли выбрал себе профессию... Так завершился их разрыв, назревавший столько лет, и в этом свете внезапный, после длительного перерыва и как ни в чем не бывало, визит явного врага становился выдающимся и загадочным происшествием.

Единственное объяснение следовало искать в возникшей у Грацианского потребности примирения, что также случается иногда к старости, но и оно отпадало для пристального наблюдателя. Теперь такого рода поворот означал бы отступление, капитуляцию, даже крушение Грацианского, слишком мало вероятное в связи со слухами о предстоящем выдвижении его в члены-корреспонденты Академии наук. Разумнее было бы искать причину в повышенной, почти сейсмографической чуткости Грацианского ко всем колебаниям и политическим изменениям в окружающей обстановке. Иван Матвееч всегда верил, что именно его, вихровские, идеи, зародившиеся из патриотических и научно обоснованных мечтаний передовых русских лесоводов, когда-нибудь найдут широкое признание в народнохозяйственной практике. Однако великая битва за лес длилась уже полтора века, и было бы самонадеянностью полагать, что как раз Вихров увенчает ее победой... Он запутался в мыслях и молчал.

– Уж решила по дурости, не мириться ли, часом, дружок-то прискакал, – делилась своими недоумениями Таиска – Побежала я на кухню за чаишком, глянула, а уж он, батюшки, вокруг стола твоего кружит и бумаги разные вроде как со скуки шевелит. А чего ему там, при твоём столе?

– Надо думать, брильянты наши фамильные собирался покрасть. Погоди, я уж кадушку железную для них заведу, – отшутился Иван Матвееч не столько от подозрений, сколько от сочувствия сестры, и осведомился, следуя начальному ходу мыслей, купила ли винца на всякий случай.

Таиска призналась, что взяла кагорцу; по ее крестьянским понятиям, жалко было деньги изводить на кислятину, в которой ни радости, ни крепости.

– Ты от дела-то не отвертывайся, – погрозила она. – Хуже волка его страшусь, заклятого дружка твоего.

Вообще же она и представления не имела о размере неприятностей, доставляемых брату этим человеком.

– Волков бояться – в лес не ходить! В прежние годы лесника потому в военную форму и рядили, что он есть караульщик при лесной казне, тот же солдат... а солдату трусить не положено.

– Вот я и говорю: уж сдавался бы ты, шел бы на поклон, пока не поздно, – сказала сестра со зловещей прямоотой. – Повалит он тебя, как учителя твоего повалил. – Она подразумевала участь видного лесного теоретика Тулякова, с растоптания которого и началась блестящая карьера Грацианского. – Пришел ты из лесу и возвращайся в лес. Детки подросли... много ли нам с тобой надо? В лесные-то обходчики примут тебя, на ходьбу крепок пока. Отведут нам с тобой избушку на кордоне, и стану я тебе по праздникам пироги с морошкой печь!

Обычно Иван Матвеич начинал сердиться: не любил такого рода искусительных напоминаний, подрывавших его силу.

– Видишь ли, сестра, деревья на краю леса получают больше света и пищи, без утеснения растут... оттого повыносливей. Вот и меня природа поставила вроде дуба на опушку, для ограждения от напрасного ветровала. Как же мне уйти отсюда?... корешки себе же рубить придется, а?

Но на этот раз под шуткой скрывалось уже полусозревшее согласие съездить заблаговременно на Енгу, погостить, приглядеться, примериться к черновой работе, с какой начинал себя ровно четверть века назад; теперь уже самый малый толчок заставил бы Вихрова привести свою мысль в исполнение. Вдобавок его давно тянуло побродить по родным местам и, пока спина гнется, поклониться зеленой колыбели, откуда впервые увидел свет.

Тогда, бессильная повлиять на брата, Таиска сама разьершилась, как лесная птица.

– Ой, Ивашка, не смеялся бы!... Сколько годов шумишь, а толку-то! Эва, за Пустошá твои принялся!... – прикрикнула она, зная его слабое место.

Пустошáми звался один знаменитый бор на Енге, помянутый еще в указах Петра; там зарождалась *тихая* Склань, священная речка вихровского детства.

– Приехал кто-нибудь или письмо получила?... кто тебе наболтал про Пустошá?...

Здесь-то и открылось то самое, что Таиска собиралась утаить от брата. И так безрадостно сообщила она про Полино посещение, что у Ивана Матвеича сердце сжалось от дурных предчувствий. Полагалось бы поподробней расспросить о дочке, а он боялся, потому что в самом тоне сообщения уже заключался ответ.

– И что же... выросла она?

– Такая ладненькая да аккуратная получилась, косомолочка, а ндравная... видно, в бабку Агафью вышла, – и поделилась с братом теми крохами знаний, что удалось ей выпытать у Поли.

– Может, нуждается в чем-нибудь... адрес-то свой оставила?

– Вот про адресок-то и забыла я в суматохе... – И вообще одну себя считала она виноватой в том, что Поленька не согласилась поскучать с нею до возвращения отца. – А промежду прочим, шляпочка на ей аккуратная, желтая соломка, и сарафанчик нарядный такой, осыпного горошку. Сама и шила, хвасталась...

Она явно не договаривала главного; тогда Иван Матвеич подсел рядом, взял за руку и слово за слово заставил сестру раскрыться до конца. Впервые возникало одно соображение, никогда раньше не приходившее в голову: конечно, разоблачительные отчеты Грацианского о его сомнительной и даже якобы опасной для государства деятельности редко появлялись не в специальной печати, но как раз все лесные издания неминуемо достигали Пашутинского лесничества и могли попасть его дочери на глаза.

– И что же... бранилась, выпрашивала она про меня?

Как ни пыталась Таиска оправдать Поленьку, все же, не обученная лгать или беречь свои тайны, проговорила про неподдельное детское презрение, прозвучавшее в ее единственном

вопросе о сущности вихровских идей. Значит, прочла дочка и осудила, отеклась и умножила собой лагерь его недоброжелателей.

Потухший, с изменившимся лицом, Иван Матвеич отошел к окну и глядел в ночь перед собою.

– Чего же ты замолк, лесной солдат? Сражайся! – с сердцем добила его со спины Таиска.

Он потерянно молчал. Лишь немногие в стране обладали достаточными знаниями – разобраться в лесной путанице, носившей, по его ошибочному мнению, чисто ведомственный характер. Конечно, с самого начала ему следовало заниматься своим прямым и скромным лесниковским делом, не впутываясь в высокую лесохозяйственную политику. Так случилось, что первой же книгой своей он поддержал тогда еще не скомпрометированное научное течение так называемого непрерывного лесного пользования, но, пожалуй, повторил бы свою оплошность и теперь, если бы даже предвидел, какой оборот это может принять в глазах незрелой советской молодежи... а именно ради нее он и возлагал на себя труд и лишения своего ремесла. Что-то подсказывало ему теперь, что отныне свою вводную лекцию на первом курсе, вступительный разговор с молодежью о русском лесе, он не сможет читать с прежней уверенностью и без тоскливого ожидания получить в ответ булыжное словцо, где спрессуются все и за многие годы заработанные им обвинения.

Надо оговориться, Иван Матвеич давно примирился, что в списке гражданских призваний того времени его собственная профессия занимала одно из последних мест Любое прочее: работа на хирургическом столе, геологическая разведка, строительство гидростанций, уборка неслыханного урожая без потерь, вождение военных кораблей в атаку, создание хитрых машин, умножающих количество рабочих рук, испытание пробного самолета и тысячи других специальностей – справедливо представлялось во мнении народа подвигами, требующими предельного духовного напряжения и доблести. Во всех помянутых областях возможны были также поиски новых горизонтов, ускорение производственных процессов, великие открытия, имевшие первостепенное значение для народного благосостояния и здоровья; там правильность расчетов, искусство мастера, количество затраченного труда проверялись в одном уплотненном, заключительном результате, доставляющем всеобщее признание, правительственные награды, авторскую гордость, причем такие свершения могли повторяться неоднократно до той поры, пока не наступит роковой час подведения итогов – смерть.

Всего этого, в глазах Ивана Матвеича, была лишена деятельность лесоведа, рассчитанная на исполинское долголетие и подчиненная законам скупого накопления растительных клеток. Правда, в ней наиболее ярко сказывалась подлинная социалистическая эстафетность, если разумеешь соавторство поколений в преобразовании планеты. Требовались две и даже три творческие жизни, чтобы вырастить полноценное промышленное дерево; если же стремиться к единственно правильной, так сказать, многопольной системе, с чередованием лесных пород, потребовались бы века. Наука же еще не владела умением выращивать корабельную сосну в пятилетку... и потому нет пока памятников лесоведам на земле!

Еще меньше надежд на быстрое признание современников приходилось на долю рядовых работников лесоустройства, представляющего собой систему лесохозяйственных изысканий и технических расчетов для составления плана рубок с возможным увеличением продуктивности лесов. Вдобавок по возрасту и положению в науке сам Вихров был уже избавлен как от изнурительных скитаний по непролазным лесным дебрям, так и от писания никем не читаемых отчетов о миллионах исхоженных гектаров. Газеты той эпохи набатно звали к непрерывному трудовому героизму, а профессия Вихрова не содержала в себе таких возможностей: ему нередко ставили на вид, что продолжительность жизни лесников стоит всего лишь на четвертом месте после пчеловодов, священников и садовников, а основное их заболевание – ревматизм, от которого не умирают. Вот отчего порой, называя свою должность, Иван Матвеич испытывал мучительную неловкость, как если бы состоял хранителем Большой Медведицы

или зрителем черноморского пейзажа. Утешением служили письма многочисленных учеников да сознание, что в таком же положении находится целая армия безвестных тружеников леса, раскиданных по глухотам и зачастую лишь через детекторный приемник связанных с благами современной цивилизации.

Подобные припадки совести можно было лечить лишь щепетильной честностью в отношении к делу и оттого, что сам он уже не сажал лесов, величайшей осторожностью в применении почти единственного своего инструмента: рубки. Однако страна требовала лесоматериалы во все возрастающих количествах, а при сохранении прежних расчетов и скоростей, а также взглядов на лес как на сам по себе возобновляющийся божий дар это могло привести к вовсе уж нежелательным и непоправимым последствиям. Поэтому у Ивана Матвеича и сложилась привычка проверять свою деятельность не количеством наград, которых у него не было, не чувством сомнительного творческого удовлетворения от выпуска еще одной обруганной книги, а прежде всего приблизительной прикидкой, как его усилия отразятся на благополучии грядущих поколений.

Поля приходилась ближайшей к нему в этой веренице потомков, так что суждения ее не были безразличны Вихрову. Получалось на поверку, что впустую ухлопал больше чем полвека, если после такой разлуки даже поклонилка от родной дочери не заслужил.

– Да, ты права, сестра... – согласился он, постукивая пальцем в стол. – Вот съезжу-ка я на днях туда, на родину. Пустошá мои навещу, помокну под дождичком, с птицами посоветуюсь... хорошо! Ступай пока, ложись, твое дело сделано. Тут уж я как-нибудь и один разберусь, – с горечью прибавил он и махнул рукой.

Так начался второй и более обстоятельный, чем даже после бегства жены, пересмотр самого себя, а главное, того, что же именно происходило в ту эпоху и какова была его, Вихрова, человеческая должность в ней. По его искреннему убеждению, Октябрьская революция была сражением не только за справедливое распределение благ, а, пожалуй, в первую очередь, за человеческую чистоту. Только при этом условии, полагал он, и мог существовать дальше род людской. И если прогресс наравне с умножением средств благосостояния заключается в одновременном повышении моральных обязанностей, потому что только совершенный человек способен добиться совершенного счастья, для этого надлежало каждому иметь и совершенную биографию, чтоб не стыдно было рассказать ее вслух, при детях, в солнечный полдень, на самых людных площадях мира. С этой точки зрения, принадлежавшей Валерию Крайнову, с особой наглядностью представало, насколько человечество нуждалось в великом очищении через грозу и бурю.

... Валерий был однокашником Вихрова по институту, старшим товарищем и вожаком их неразрывной когда-то петербургской четверки. Для него вообще не существовало неразрешимых узлов даже в тот, казалось бы, безвыходный период отчаянья, царских провокаций и распада общественных сил. Он обладал ясным, прозорливым умом ленинской школы в сочетании с даром почти научного предвиденья, и Чередилов, подобно Грацианскому происходивший из духовного сословия, в шутку именовал его в тот период наставником и праотцем социалистических людей. Вместо лесоводства Валерий ушел сперва на партийную работу, потом много лет провел за границей на посту советского посла; как нередко случается среди русских друзей, Вихров встречался с ним не чаще раза в десятилетие. Переписки не получалось; личные события в жизни современников совмещались тогда с общественными, о них быстрее было прочесть в газетах. Но всякий раз, попадая в затруднение, Иван Матвеич мысленно привлекал Крайнова в собеседники, и, таким образом, они вдвоем решали наиболее сложные уравнения действительности.

Так было и теперь:

«Определи же свою цель возможно объемней и грубей», – сказал Валерий.

«Я ее знаю. Она в моих книгах».

«Проверь ее на будущем».

«Не вижу иного способа помочь ему».

«Тогда делай... и если не достигнешь цели, еще раз прикинь дорогу, которой ты шел к ней».

...Чтобы утром, до лекций, выпростать время для личной работы, Иван Матвееч ложился рано. На протяжении последних лет то была первая ночь, проведенная им на ногах; впрочем, на завтра выпадало воскресенье, 22 июня. Он все ходил по комнате, пятнадцать шагов по диагонали, заглядывая в каждую щелку своего прошлого. Неизменно, при повороте у стола, в поле его зрения попадал незаконченный очерк о раке обыкновенной сосны. Работа резко выпадала из круга вихровской специальности и не предназначалась для печати... но наступают моменты у стариков, когда они торопятся закрепить на бумаге неизрасходованный опыт по любимому предмету. Сейчас эти пространные, мелким почерком изложенные рассуждения о вредном для данной породы соседстве осины мнились ему преступной чепухой в сравнении с тем, что полагалось ему свершить в жизни и достигнуть чего не сумел,

## 2

Остановясь, он вглядывался в желтоватые листки рукописи и, как сквозь осеннюю успокоенную воду, видел там, на дне, свою детскую сказку; горьковатый привкус убеждал его в ее достоверности. Любая зрелость начинается с разоблачения сказки, а в этом смысле мальчик Иван довольно рано узнал, из каких незамысловатых лоскутков, при лучине, сшивались увлекательные народные сказы, и как сказочно, с песней да поножовщиной, гуляет перед паводком сплавная вольница, и как посылают ходоков на поиск сказочной крестьянской правды, и как скупое, бесслезно плачут женщины на сказочной Руси. Однако если пренебречь скудостью пищи и бедностью крова, к чему всегда равнодушны крестьянские дети, то жизнь Ивана Матвеича началась как раз в сказочном богатстве, потому что владел игрушками, недоступными и заправдашнему богачу.

Достоинство удивления, как уместались на планете необозримые пространства, входившие в круг мальчишеских владений и населенные легендарными созданиями. На пойме за Горышкой расхаживал меднокожий, трактирщика Золотухина, бык с железной серьгой в ноздре, а в барской усадьбе, что белела близ излучины на высоком берегу, сам престарелый барин Сапегин ежевечерне постреливал ворон, мешавших ему сосредоточиться на осмыслении превратностей византийской истории; в полузаросшем русле старицы ютились русалки, и в послегрозовые летние вечера видать было с Шабановой горы, как, простоволосые, караулят они православных в намерении зашекотать их проворными шелковистыми перстами., и, наконец, в ближнем дремучем лесу, на Облоге, проживала мохнатая *блзна*, местная разновидность нечистой силы, с не менее странной прихотью валить лес по осени. Чуть полночь, даль оглашалась стуком топора по звонкому смолевому стволу, томительным хрипом падающего дерева, прощальным всхлестом вершинки, но малолетние исследователи ни разу не находили там ни щепы, ни пня...

И вот как выглядела топография тогдашнего мира. В центре его, при слиянии Склани с Енгой, сползало к воде Красновершье, а вокруг – зеленые, синие и голубые – ступенчато простирались леса. От барской усадьбы деревеньку отделяла сосновая, десяти на полсотни роща, чье местоположение определялось самим названием – Заполоски. С востока клином спускалась в овраг, тоже сапегинская, часть громадного Облога, а непосредственно за ним синели казенные, неприступные Пустошá. Они пребывали в постоянном тумане, и над ними вечно дождик моросил, потому что, по непроверенным ребячьим слухам, небо в том месте вплотную смыкалось с землей. Главная тайна этого древнего бора, тщательно продуманная Иваном совместно с первейшим его дружкой Демидкой Золотухиным, состояла в том, что чем дальше, тем выше росли там деревья, так что кудлатые кроны их сокрывались в облаках, благодаря чему обыкновенная белка могла взбираться по ним в самую высоту и грызть там свой орешек, усевшись на излучинке молодого месяца. А уж оттуда было рукой подать до бездонного каменного обрыва, и в нем ни рек, ни травки, ни печали земной, а только дымно стелется гиперборейский мрак и еще нечто, чего не может выдержать взор самой отчаянной человеческой души. Это и был край света.

Именно Облог стал причиной известной в свое время лесной тяжбы, начавшейся вскоре после отмены крепостного права. Казенные леса отстояли далеко, а ближние принадлежали наследникам разных исторических фамилий, одна другой влиятельней, почему и не представилось возможности наделить лесом освобожденных мужиков. Население же на Енге, кроме сплава, истари занималось деревообделочным ремеслом: точили ложку и вязали колесо, – сами же красновершеницы от века славились как сундучники, так что приданое всех зажиточных невест в империи помещалось исключительно в пестрых красновершенской работы укладках, обитых цветной фольгой под обрешетку, со стальным, тонким пенницей в замках. Мужики невозбранно пользовались липой и молодым дубком из сапегинских угодий, пока во владение

не вступил последний в роду просвещенный деятель освободительной реформы и переводчик византийских хроник на русский язык, Илья Аполлонович. Неоднократные увещания мужиков со стороны властей светских и духовных, чтоб не обижали ближнего своего, хоть и помещика, не приводили ни к чему, так что под конец просвещенный переводчик взыграл и для ограждения ежегодно повреждаемой собственности прибегнул к закону. По отсутствию архивных документов Иван Матвеич мог ознакомиться с тем невеселым анекдотом лишь в передаче енежских старожилов и перед самой революцией, когда сквозь административную путаницу тяжбы стала проступать отстоявшаяся живописность народного предания.

Вначале якобы успех склонялся на сторону мужиков. Из-за неоднократных передвижек Красновершья, как часто бывает после опустошительных пожаров, в губернских землеустроительных записях это село на указанном месте не значилось вовсе, а следовательно, и лес там повреждать было некому. То был особый вид чиновничьей слепоты, и для излечения ее Сапегин применил одно испытанное на Руси средство – протирание глаз кредитными билетами, после чего в одночасье прояснилось, что Красновершья действительно существует и основатель его раскольник Федос ставил свою моленную именно тут, в непроходной хвойной дебри, которая на Енге так и зовется *чернь и кремь* в обозначение гущины и недоступности. Но с течением времени, как всегда в соседстве с человеком, лес изошел пепелком, дымком да стружкой, а остаток Федосовы потомки спустили вниз по реке, так что причитающаяся им лесная доля была ими вроде как и получена. Дело, впрочем, с места не сдвинулось по той простой причине, что сообразительные красновершенцы так же, дважды в год возили в город даровые дровишки, глухарей, самотканую холстинку и разное другое, служившее немалым подспорьем для многосемейных законников.

По той же крестьянской молве, после вторичного сапегинского даяния губернские власти установили даже, что и вообще тамошние жители в лице беглого Федоса завелись на Склани без дозволения правительства, а раз так, то и даров природы им не положено; однако не смогли ни вовсе отменить красновершенских мужиков, как того добивался просвещенный переводчик, ни взыскать с них возмещение за полуторавековое расхищение помещичьего добра. Тогда Илья Аполлонович перекатил дело в сенат, но и крестьянским ходакам не воспрещен был доступ в императорскую столицу. По рассказам стариков, к тому времени мужики находились уже в крайне накаленном состоянии. На великом красновершенском сходе с привлечением трех смежных деревень решено было не сдаваться, производства всемирно известных сундуков не закрывать, а добиваться дедовской правды.

Матвей Вихров был третьим по счету посланцем Красновершья. Первые двое вернулись ни с чем, если не считать незначительного телесного ущерба. Выбор пал на Матвея, уже не за понырливость или речистость, не оправдавшие себя в предыдущих хождениях, а, наоборот, за исключительную кротость его характера при крайне внушительной внешности. Был он такого роста, что, когда входил, к примеру, в волостное правление, поднырнув под притолоку, все невольно приподымались перед столь значительным явлением природы; ему тогда было за пятьдесят. Величие русского крестьянства сквозило в его спокойной напевной речи, в степенной, чуть тронутой проседью бороде, в медлительности тяжких рук, годных хоть на былинные подвиги. Униженный поклон такого великана не мог не повлиять на самую закоснелую в законе душу; с помощью Матвея красновершенцы намеревались выказать свою мирную, однако же чреватую опасностями покорность перед тогдашними столпами государства российского. Имелся и еще один веский довод именно за его посылку: младший Матвеев брат, Афанасий, занимал пост дворника в Санкт-Петербурге, носил номерную бляху, следовательно, мог указать секретные ходы в недра законов и предоставить временное пристанище.

Событие это лежало вне Ивановой памяти, и лишь в зрелые годы он от сестры узнал о бывалом обычае проводов ходака: как всем селом снаряжают его в путь и приносят по силе возможности – пятак, сукрой хлеба, клочок веретя ноги утеплить, а потом с причитаньями,

как на погост, ведут под руки до околицы под ветром да косым осенним дождичком, и все кланяются ему, лес и люди, колючий порыжелый татарник при дороге в том числе, и дальше он уходит сам, с берестяником за плечами, отрезанный ломоть, и тот ломоть есть его, Иванов, отец... Много наказов было дано Матвеем на расставании, и главный в том заключался, что-де от бога всему обществу лес даден и грешно отдавать его в одни руки, которые и топора-то не держали отродясь. «А еще, – пополам с кашлем якобы покричал ему вдогонку захудалый старичонка Зот, – ты им такой пример произведи, Матвеешко, что коли тыща у одного ворует, так еще неизвестно, кто там сущий вор!»

В свой крестный путь Вихров Матвей вышел глухой осенью 1892 года и сперва как бы канул бесследно, а потом на всю Россию прошумел в несколько неожиданном направлении. Впоследствии донесла молва, будто полгода усердно и безуспешно, лишая себя пищи и покоя, пробивался он с мужиковской слезницей к некоему полувлиятельному лицу, от которого зависело не то чтоб решение бумаги, а преподача ее перед наивысшими государственными столпами, но все не давался тот. А уж Матвея признала полиция и жители соседних домов, пока он в мокрядь и стужу караулил у подъезда, даже полюбили за смирность, а генеральши кликали ковры выбить либо дров наколоть, и он все выполнял безвозмездно и с неизменным благодушием, понимая свое предназначение, но потом стал заметно печалиться, с тела спадать, так как уже прожился дотла. И вдруг улыбнулся господь на мужицкую горесть: аудиенция состоялась одним вечерком, на том же людном проспекте, когда полувлиятельное лицо садилось с супругой в сани, направляясь по своей неотложной надобности.

Опустившись на колени, как повелели односельчане, Матвей ждал его высокого решения с бумагой на обнаженной голове, – и надо думать, даже для бывшего, ко всему привычного Петербурга это было пронзительной силы зрелище, но полувлиятельное лицо проследовало мимо, причем супруга его краем ротонды смахнула наземь народное писание с Матвеевой головы. Меховая полость была уже застегнута, а кучерок подшевелил вожжой левого, каркового, когда Матвей в два прыжка настиг сани и, согласно материалам судебного следствия, нанес полувлиятельному лицу оглушительное оскорбление действием по шее, сквозь бобровый воротник, и с таким ожесточением, что означенное лицо скончалось на месте. К этому необходимо добавить, что, по рассказам матери, к вину Матвей не прикасался, церковные службы выстаивал до последнего отпуска, застенчиво обожал птичек и вообще всякое дыхание послабже себя, но, значит, в тот раз скипелось внутри мужицкое горе и прорвалось через его длинную, пушечной тяжести руку... Кротостью поведения и нежностью к природе Иван Матвееч удался в отца, внешностью же больше походил на мать, Агафью, некрупную, безжалобную, статную женщину с некрестьянски тонкими руками. Соседи жалели ее и по мужу звали Медведущкой.

Назад, в лоно покинутого семейства, Матвей вернулся года три спустя, когда мальчику Ивану пошел седьмой годок. Еще с зимы Вихровых стали навещать стражники, – один раз будто ошиблись избой в поисках сотского, а то еще заходили воды напиться... и ничего бы, что в ночное время, и ночью, случается, жажда людей томит! – но почему-то оба раза до свету прокачались они на лавке в потемках, когда сытому казенному мужчине самый сон. Потом затихло, и тут, перед святой, в глухой полночный час Матвей без стука объявился у себя в избе. Неизвестно, как он пронес мимо стольких дозорных глаз свое огромное тело, собак обманул, отомкнул запертые изнутри ворота, – но только он уже сидел близ стола, безразлично к своей участи и спиной к окошку, когда проснулась жена, скорей от тревожного озноба проснулась, чем даже от шороха Она все поняла еще раньше, чем разглядела мужа. Луница такая светила, что впору хоть зажмуриться.

– Вот и я, мое почтение... – как бы сказал Матвей, причем пощупал лен на лавке рядом и покачал головой, но Агафья и без него знала, что не дотрепала: кострики много.



Не в пример другим бродягам, он был в чистой, наскрозь черной, исправной одежде – может, попользовался с кого-нибудь на тракте у Шиханова Яма, хоть и не слыхать было про грабительство в округе. Вроде как бы купец на побывку приехал, только без гостинчика, чудной, молчаливый и весь такой непривычный, какими обычно покойники и представляются в сновидениях. Не зажигая огня, Агафья спустила ноги с нар и все глядела на новые мужнины сапоги, на его белые, свешенные меж колен руки. В стремлении удостовериться в чем-то, она спросила, что там, в Питере; он отвечал, что в Питере хорошо, круглый день играет духовая музыка и свет жгут до зари. Также пришло в голову узнать, откуда прибыл в такой справе: оказалось, отпросился со службы из самых холодных краев, а смышленной бабе нетрудно было вывести из этих слов, что подразумевается могила.

– Где же ты такие раздобыл-то, Матвеюшко?.. – подивилась жена, потому что и на купцах подобных сапог не видывала.

Прежде не замечалось в нем привычки переспрашивать: все прислушивался к чему-то за стенкой.

– Это сапоги-то? Чего же таиться, грех к греху бежит! – и посмеялся дерзким острожным смешком, но тихо, чтобы не будить детей. – Едите-то што? Как шел, в Сурчалове уж снытку-травку варят. Куды шибко живут! Совсем оробели мужики с голодухи... лошадки и те без силы полегли.

Не иначе, как намекал, чтобы поесть дали хозяину, но Агафья не посмела, так как не положено, чтобы не приваживать, живой пищей угощать мертвых. Тогда не для жалобы, а единственно из хитрости стала баба рассказывать, что совсем подобрались с едой, и горбатенькая дочка уж просилась в побирушки, но она, Агафья, не пустила, хоть и мачеха, а ходила к Золотухину одолжиться хлебцем; дескать, Матвей воротится, все разом отдаст из первого зерна, да нарвалась на сноху. «Баба, сам знаешь, лютая, на язык-то злей скребницы, до мяса издерет. И как зачала она меня страмить, Матвеюшко, на всею деревню, у меня и ноги подломились». Тут, на счастье, сам вышел, Золотухин-старик, пихнул ругательницу, Агафье же пшеница отвесил, велел приходить каждую субботу, после закрытия, полы в трактире мыть. Матвей не пошевельнулся при этом, а только спросил ровно бы издалека, жива ли у Золотухина собственная-то жена: помнилось, ногами маялась. А уж ему, с того-то свету, полагалось бы знать, что с полгода как померла старуха... И будто бы тут спустилась Таиска с полатей, и отец, погладив дочку, пожелал узнать, не болит ли у ней горбик на спинке, а Таиска отвечала тонким голоском, что со спинкой ничего, обошлось. И по собственной догадке задала вопросик, не в разбойниках ли теперь ее папаня, а Матвей засмеялся: совсем польнь-дело с малыми-то ребятами... и мертвенно как-то рукой махнул. Уж на что ходики громко стучат в эту пору ночи, а и ходиков Агафья не запомнила: память отнялась. Но, значит, въявь то было: наутро выяснилось, что и Таиска видела тот же самый сон.

Мальчику Ивану довелось познакомиться с папаней ровно через недельку. Стражники застигли Матвея на Облоге, у одного тамошнего пчеловода; чужак вздумал обороняться сглуна да спросонья. Временно пути в тюремную больницу не было: в паводок сорвало и унесло паром, а ждать, пока пригонят новый, или переправлять в лодочке не позволяло здоровье арестованного. Домой Матвей приехал вечером, в канун троицына дня. Он лежал на спине, держась за грядки телеги досиня стиснутыми пальцами, чтобы ослабить боль на толчках, а дышал часто, словно торопился насладиться домовитым, таким пригожим запахом русской деревни, составленным из сытного дымка очагов, охолодавшей земли и пыли после пригона скотины; весь ружейный заряд находился у него в животе. Гроб сколотили все из того же ворованного сапегинского леса, но обмерились в суматохе, так как становой, сдавая на поруки, приказал не задерживать беглого преступника, и Матвей уместился в домовину с согнутыми коленями. По заветам старины, нести икону впереди прощального шествия дали Ивану, не запятнанной пока ангельской душе. Ради такого случая мать достала ему из укладки новую рубаху с ластови-

цами, цветными клиньями в подмышках, как у заправских парней. Похороны отца запомнились семилетнему мальчику как выдающийся праздник детства. Начать с того, что, смягчившись ради данного случая, Золотухин подарил ему было целый гривенник и тут же отпустил на указанную сумму мятных пряников, а кто победней, те норовили хоть мимоходным прикосновением приласкать сироту. С этого суетливого дня, озаренного какой-то неугасимой радостью бытия, начинала действовать самостоятельно память Ивана Матвеича.

... Нет ничего благодатнее на свете, чем перволетняя ширь той поры, когда повсюду выступают узоры полевых цветов, еще не познавших ни острия косы, ни зимней стужи, когда вразброд и еще шепотом учится речи народившаяся листва, хотя пряный ледяной холодок струится пока с лесных опушек, – когда еще не ясна конечная цель всей этой одуряющей заманки, но уже всему дано по капельке опробовать медок жизни, и уже прогрелась на солнце несмятая трава, и, что бы ни ждало впереди, хочется мчаться по ней босыми ногами, все вперед и вперед, пока не остановится сердце!.. В тот памятный денек припаривало с утра, живое стомилось по дождю, и, если не считать постукивания колес по гребешкам задубевшей колеи, в природе стояло совершенное затишье. Слез не было, не плачут по отрезанном ломте, но все по-своему провожало Матвея: прохожие без шапок сторонились на обочину, жавороночек малость позвенел в высоте, а на щелястом мостке, где когда-то Матвей на диво миру вымахнул плечом провалившийся воз с сеном, каждая мостовинка в отдельности попрощалась с мертвецом.

Все шли на погост пустые, лишь Ивашка с иконой, к великой зависти Демидки Золотухина. Тот все набивался подсобить, понести священный предмет шажочков тридцать пять; но хотя Иван и сознавал, что получать удовольствие следует наравне с другими, понимал так же, что тот потом не вернет.

– Тяжелая? – через каждые пять шагов спрашивал Демидка про икону.

– Средне так... в общем ничего себе, – с непонятливым видом уклонялся Иван.

Везла Матвея белая и смиренная золотухинская кобыла, обмахиваясь хвостом от досаждавших слепней, а при ней сбоку бежал худенький стригунок, время от времени поднимавший голову из любопытства: откуда взялся в хозяйской телеге чужой черный мужик. Таким образом, и Демидка, через отцовское имущество, принимал участие в этом памятном происшествии. Когда Матвей отставал, ребята угощались пряниками и сообща разглядывали икону: ветхий старикашечка в черной, с белым крестом, мешковине на голове нестрашно грозился им двумя перстами, чтоб не баловались впредь при исполнении мужиковских обязанностей. В церкви жалостно пахло увядшими березками. Батюшка произнес неразборчивую проповедь о пользе смирения и вреде непослушания. В яму опустили отца на веревках и бережно поставили на желтый песочек в глубине. Тут набежала краем запоздалая гроза и стрельнула в разорванном воздухе два разочка, как бы из плохонького ружья.

– А ты не томишься на людях-то, покликай, облегчись, внемли гласу благоразумия, – шамкал батюшка окаменевшей Агафье, снимая мокрую епитрахиль и стремясь исторгнуть из вдовьих глаз облегчительные слезы. – Теперь ему куды лучше нашего, без хлопот... авось туда ходатаем пробьется! Теперь у него все препятствия позаде!.. – и показал на розоватые после грозы застылые облака, похожие на распахнутые настезь чертоги, куда машистой походкой странника, в тогдашнем Ивановом воображении, направлялся Матвей.

К слову, эпизода этого Иван Матвеич никогда в анкетах не поминал, чтоб не подумали, будто ссылкой на отцовские приключения тщится обелить свою собственную деятельность.

## 3

Сближение с Демидкой с того и началось, что Иван поделился с ним похоронными пряниками; на протяжении ближайших лет оно превратилось в неразливную дружбу. Демидка был постарше всего года на два, и оба росли сами по себе, безотцовщиной. Старый Золотухин, взиравший на свое семейство как на даровых батраков, не впрягал пока меньшенького в наживу за явной его непригодностью ни к ямскому делу, ни к сиденью за конторкой. Близость мальчиков крепла с каждым днем: рукастого, большеротого Демидку привлекало в Иване обостренное чутье природы – чудесный и врожденный дар, как другим даются, к примеру, карие очи, беспощадное к ближнему сердце или сверхъестественная резвость в ногах. Иван часами мог выслеживать обычай дятла или наблюдать толчею муравьиных городов, без числа раскиданных по Заполоскам Везде у него имелись на приметке гнездо, норка, дупло с пчелами, и, когда это требовалось по ходу деятельности, он отправлялся в лес и без промаха, как дома на полке, находил птенца или замысловатую гусеницу, а возможно, те и сами ему давались, зная, что от него им не будет вреда!.. Но в то время как Иван удовлетворялся бескорыстным знанием тайны, Демидка во все их мероприятия вносил невинный пока оттенок детской коммерции. Возросшая храбрость, закалка по любой погоде мерить трехверстную даль до церковноприходской школы и неутолимая жажда новизны вывели их на простор более широких географических исследований. Как и человечеству в их возрасте, им становилось тесно и подмывало на преодоление чудесной неизвестности потратить избыток сил. Так возникла затея проникнуть за Облог, на край света.

В сущности, это был вызов всем темным силам леса и ночи. Именно на границе Облога и Пустошей проживал ужасный Калина Тимофеевич, грозное существо сверхбогатырского телосложения и замысловатого озорства, в особенности опасного для торгового сословия. Стародавняя бабья выдумка в острастку ребятам, чтоб не отдалялись от дому, с годами превратилась в тщательно разработанную легенду о том, как однажды, выйдя по зорьке на свои благословенные труды, старец Федос обнаружил возлежавшего на приречном склоне удальца с колотой раной в боку, и будто человек сей оказался подручным самого Разина, бежавшим из-под царского палача; то и был Калина. По отзывам сведущих лиц, как ни старался оный Федос склонить его к спасению души посредством питания единственно росой да голубикой, тот непригожего своего ремесла не оставлял. И верно, еще незадолго до революции грибники и охотники находили на Облоге скелеты безыменных деятелей торговли и промышленности, погибших за свое золото проездом на известные лошкаревские ярмарки; недаром еще деды енежских богатеев давали по семь верст крюку во избежание встречи с Калиной. Как бы там ни было, а вечера на Енге длинные, и лучины бывало вдоволь... к тому же старушки в урожайный год словоохотливые, а в детских душах гулко отдается всякий шелест богатырской старины.

В то время оба мальчика уже ознакомились с четырьмя правилами арифметики и с путаными, только дразнившими воображение сведениями из библейской космогонии. Ивана давно тянуло ступить ногой на край света и вообще полюбоваться на разные загадки мироздания, но одному страшно было Калины, и он доверил своему приятелю уже созревший замысел посетить Пустош.

– Хоть глазочком бы заглянуть – и назад, а то еще голова закружится. Ахнуть не поспеешь, как засосет.

– Сказал!.. кто это нас с тобой засосет? – самонадеянно покривился Демидка.

– А пучина.

– Какая еще пучина?

– Ну, пучина... В церкви поют, слышал?

– А, эта... – насмешливо отозвался Демидка и постоял на одной ноге из интереса, долго ли удержит равновесие. – Эта, брат, не засосет. Я тебя сзади за пятки придержу, гляди сколько влезет.

Вдруг он нащурил левый глаз и облизал губы, как всегда при мыслях о барыше.

– Ты чего? – встревожился Иван.

– Соображаю... мешок с собою захватить!

– Пошто?

– А может, клад найдем. Поди Калина не пустой к Федосу-то приперся... куда он *казну* свою девал?.. Знаешь, сколько ее у Стеньки было? Он даже за борт ее бросал, во!

Оба знали лишь на слух, а не по содержанию старинную песню про злосчастную, кинутую в дар Волге персидскую княжну. Правду сказать, Иван и сам был не прочь позаимствовать рублик-другой из Стенькиных сокровищ, чтоб Таиске не побираться: он ее жалел. Из тех же соображений ему пришло в голову захватить с собой и второго друга, Паньку Летягина, уже самого что ни есть голого на деревне, к тому же обладателя незаурядной физической силы, но Демидка воспротивился, чтоб не делиться на троих, и тут пролегла первая трещинка в их отношениях.

Они собрались выйти со светом, чтоб вернуться обыденкой, однако с вечера Золотухин наказал сыну мыть бутылки из-под масла, и пока ребята полоскали их на реке песком с крапивой, роса уже сошла... Солнце стояло в зените, когда они подошли к Облогу со стороны старого лошкаревского тракта. Там и осенью, в пору ярмарок, редко проходили обозы, а теперь было совсем тревожно и пустынно. Булыжный, горбылем вспученный тракт сбегал в зеленую мглу просеки и сразу пропадал в низине, откуда несло застойной сыростью и каким-то зловещим тленом западни. Становилось понятно, почему проезжие начинали молиться Гурию, Самону и Авиву еще за три полустанка до Калинова прогона.

– Гляди-ка, в лес-то и следочка нет... – озабоченно оглядевшись, шепнул Демидка. – Нам теперь впору хочь бы за ниточку ухватиться.

Иван молча указал на одинокую, на отлете, березу; кто-то давно и, видно, неспроста повесил там, в развилину сука, ржавую подковку, наполовину утонувшую в белой мякоти коры. Отсюда и начинался великий переход на Пустош. Дорогу сразу преградила замшелая колода, могила лесного великана, ставшая колыбелью целой сотни молодых елочек. Она хрустнула, как гробовой короб, и просела под Демидкой – еле ногу вытащил, но зато тотчас за нею, сквозь плаун и моховой войлок, проступила тропка. Она услужливо повела ребят, но для чего-то поминутно петляла, пересекалась со звериными ходами, вводила в ласковые, приманчивые трясинки, заросшие таволгой и валерьяной. «Лукавит...» – от сознания своей силы усмехнулся Демидка. Самый лес в этом месте был сирий, с подмокшими, словно обугленными снизу стволами, в диких, до земли свисавших космах мха. Он прикидывался нищим, с которого и взять нечего, и то отвлекал в сторону малинничком на поляне, усыпанным спелой ягодой, то пытался откупиться гнездом с уже подросшими птенцами, то стращал, наконец, рослым можжевелем, что, подобно схимнику в темном балахоне с островерхим колпаком, выбредал навстречу из-за корней повалившейся ели; именно эти нехитрые уловки леса и доказывали правильность пути. Иван шел впереди с блестящими глазами, не пропуская ни значка в путаной лесной грамоте – свежий лосиный погрыз на ольхе, горстка накиданной дятлом шелухи или вдруг неожиданное, по взгорью, целое семейство кислички; и как всегда в истории человечества, вслед за открывателем чудесных материков шагал купец, на глазок прикидывая барыши, – так и за мальчиком Иваном молча и с мешком поспешал властный, предприимчивый Демидка.

Двигались молча, но на привале возник жаркий спор о самой технике розысков. Как известно, заколдованные места на Енге опознаются по бледным росткам чешуйчатого петрова креста, а так как для отвода глаз уйма его растет в енежских борах – и нужно выбирать лишь тот, что голубовато светится в темноте, и сразу заломить ему верхушку, а то провалится на

полверсты! – возникала естественная тревога насчет обороны от нечистой силы, приставленной на охрану древних кладов; на всякий случай дали взаимную клятву не бежать, не реветь при виде самой рогатой опасности. Разногласия обнаружились по вопросу о применении денег: Демидка настаивал, чтобы еще до леденцов и прочего баловства купить по тройке коней с полной ямщицкой справой, со звонцами под серебряной дугой, – и пускай стоят себе на приколе, пока хозяева не подрастут!

– Зачем тебе? – усомнился Иван.

– Чего, ямщиками станем! Знаешь, сколько с купцов за лихую езду дерут? Летось нашему Ганьке один спьяну-то перстень с камнем отвалил. Коня запалил, а отец хоть бы словом попрекнул Ганьку-то!

– А камень?

– Что камень?.. В потемках огнем горит, хочь прикуривай.

– Побожись!

– С места не встать, сам видал. На ночь в крынку от воров прячет.

Соблазн был велик, Иван задумался:

– Да ну их, твоих коней! Еще в ночное придется гонять...

– А мы Паньку Летягина наладим. Его за четвертак-то хочь в землю закапывай, во! Ему больше и не надо, чтоб не избаловался: все лучше, чем под чужим окошком милостыню гнусить.

Иван промолчал, и новая обида за безответного товарища стала второй трещинкой на их дружбе.

Постепенно зеленая мгла стала редеть и таять, а краснолесье— просыхать и перемежаться с веселыми березовыми прогалинами, залитыми оранжевым, остывающим солнцем; опускался тихий вечер. Тропка беспокойно заматалась и покинула ребят на просторном лужке, полого спускавшемся в гулкую и темную лошину. На другой стороне, с расстояния обжигая смолевым зноем, сияли и уступами подымались в гору таинственные Пустошá.

Бор начинался прямо, без подлеска. Неохватные, стрела к стреле, сосны возвышались там, как подпорки неба, и легко было догадаться, чье жилище сокрывалось за этим исполненным частоколом. Хозяин готовился к ночлегу, видная издалека вековая надломленная лесина, подобно шлагбауму, запирала проход в его владения. Верно, успели предупредить страшного Калину о приближении опасных людей, если выслал навстречу им свою летучую разведку. Изредка проносились голубые стрекозы, как бы благовествуя близость тихой воды; пчелы с разлету зарывались в пылающие костры кипрея вокруг прошлогодних дровяных полениц, и, похожие на сановников в бархатных камзолах, неторопливо сновали шмели. Низкая жильная струна пела в загустевшем медовом воздухе, пропитанном сверканьем цветочной пыльцы. И словно ведьма на празднике, стояла поодаль зловещая, вся в синих лохмотьях, разбитая громом ель; продольная трещина надсадно скрипела, в последний раз предостерегая ребят от объятий грозного Калины. Но отступление было отрезано: сзади по их следам наступала ночь. Хлеб кончился, томила жажда... однако потребовался целый час, прежде чем подсказало им кладоискательское чутье, что достигли места.

– А как назад добираться станем? – на пороге счастья слегка струхнул Демидка.

– Теперь молчи, а то, не ровен час, услышит...

Постепенно жар сменился прохладой, а хвоя – листвой, уж позолоченной закатцем. Тени удлинились, дорога назад была потеряна. Но повторялась счастливая Колумбова ошибка: вместо котомки с золотом ребята отыскивали новый мир. Им открылся чистенький, ничем издали не примечательный овражек, без единой соринки или валежины, без единого цветка по теплой, как бы подстриженной траве, даже без птичьего щебета, словно и шуметь запрещено было в том месте. Вдруг необъяснимым холодом дохнуло в лицо, и волнение искателя подсказало ребятам, что перед ними – самое важное в округе, а может быть и на всей земле, сокровище. Громадный

плоский валун, не иначе как стол Калины, лежал на дне овражка, под навесом древних лип. И подобно кровинкам от накануне растерзанной жертвы, отблески дальней рощицы пламенели в его щербатой поверхности, подернутой лишаем. Потом голос падающей воды позвал мальчиков вниз. Они спустились и стояли со склоненными головами, как и подобает паломникам у великой святыни.

– Вот оно... – торжественно и непонятно шепнул Иван.

Это был всего лишь родничок. Из-под камня в пространстве не больше детской ладони роилась ключевая вода. Порой она вскипала сердитыми струйками, грозясь уйти, и тогда видно было, как вихрились песчинки в ее размеренном, безостановочном биенье. Целого века не хватило бы наглядеться на него. Отсюда начинался ручей, и сперва его можно было хоть рукой отвести, но уже через полсотни шагов рождалось его самостоятельное журчанье по намытой щебенке.

То была колыбель Склани, первого притока Енги, а та, в свою очередь, приходилась старшей дочкой великой русской реке, расхлестнувшей северную низменность на две половины, так что полстраны было окроплено живой водой из этого овражка. Без нее не родятся ни дети, ни хлеб, ни песня, и одного глотка ее хватало дедам на подвиги тысячелетней славы. Не виделось ни валов земляных, ни крепостных стен поблизости, но все достояние государства – необозримые пашни с грозами над ними, книгохранилища и могущественная индустрия, лес и горы на его рубежах – служит родничку прочной и надежной оболочкой. И значит, затем лишь строит народ неприступные твердыни духа и силы, и хмурое войско держит на своих границах, и самое дорогое ставит в бессонный караул, чтоб не пробралась сюда, не замутила, не осквернила чистой струйки ничья поганая ступня. Всего этого Иван еще не понимал в тот вечер, но ни при каких обстоятельствах впоследствии он не ощущал себя таким ничтожным, как перед лицом того беззащитного, казалось, родничка, никогда не испытывал такого светлого, беспричинного ликования.

Когда оно улеглось, мальчики с колен напились воды и, передохнув, снова пили – на всю жизнь, потому что больше нечего было унести отсюда.

– Востра, из земной жилы бьет, – похвалил Демидка, рукавом вытирая губы. – А что, заткнуть если?

– Всеё землю тогда разорвет. Знаешь, сила какая!

Вдруг тишину прокликнула желна, и ей отозвалась другая дозорная птица, потом третья, оповещающая кого-то о самовольных гостях, – следовало ждать беды. Смутный ропот пробежал по вершинкам. Лес быстро погружался во мглу; туман пополз из глубины, мальчики озябли, это был страх. Уже глаза угадывали в потемках то очертания громадной волосатой ноздри, словно *она* уже принималось к человеческому следу, то полуприкрытый веком зрачок, обманно устремленный мимо. В ожидании неминуемых наваждений ребята так прижались друг к другу, накрытые одним мешком, что, если бы не еще более могущественные события последующих лет, никакая сила не разъединила бы их до гроба.

Что-то во тьме поохотало над незавидным ребячьим жребием.

– Во, видишь его? – шепнул Иван, стиснув Демидкино колено.

– Где?

– Вона, к стволу приникло... с лошадиной головой.

Демидка увидел и вздрогнул:

– У, никак, подпалзывает! Ну, брат, купорос наше дело: не дыши теперь.

Началось с того, что два дерева явственно поменялись местами, а белесая тьма, повешенная на кустах, как сеть на просушку, местами прорвалась, образуя проходы. Вслед за тем длинное полупрозрачное тело заколыхалось над ручьем и двинулось к ребятам, укладываясь в обычные человеческие размеры. Все же чуть полегче стало на сердце, когда лошадиный череп оказался всего лишь белой бородой. Надо думать, главный хозяин ленился покидать логово по

пустыкам, раз прислал подручного, видно состоявшего при нем управителем на манер известного Аверьяныча в сапегинской усадьбе.

Оно подошло и наклонилось над ребятами.

– Вы чего ж это, ровно грибки, на дороге уселись? – нестрого спросил полухозяин и почесался под рубахой вполне обыкновенно, будто и не был на самом деле нечистой силой.

– Мы тут воду пьем, дедушка, – в голос и возможно приятнее, чтоб задобрить, отвечали кладоискатели.

– То-то я иду, смекаю – грибков бы на жарево... Глянь, тут они и сидят, двоешки! – И коснулся Ивановой головы, сразу утонувшей в плечи. – Чего дрожишь-то, малый?

– Это мы от сырости, – жалостно признался Иван, – подзябли...

– Ну-ка, айдате за мной греться, я вас спать уложу... – И ждал и лукаво помянул про какой-то особенный медок, духовитей на свете не сыскать, но ребятам страсть как не хотелось греться на Калиновой сковородке. – Замолкли-то, ай голосишко потеряли?

– Мы не можем... – простонали обреченные души.

– С чего бы это?

– Нам Калины боязно: осерчает... – было ему ответом.

– А пошто ему серчать? Я и есть Калина, – посмеялся полухозяин, и ребята поняли, что сопротивление бесполезно. Все время беседы старик то удалялся, то ближе подступал, так что можно было разглядеть его. Он был совсем как человек, лыс и бос, в длинной рубахе с веревочной опояской; на траве белели большие, отмытые росой человечьи ноги. Но могущество лесного владыки как раз и состояло в способности принимать любое обличье – от волка до проливного дождика, а уж убавляться в росте ему вовсе ничего не стоило, иначе снизу и не докричаться было бы до него!.. Бежать стало некуда и опасно из-за риска оступиться в пропасть на краю света; кроме того, ребят живо заинтересовало упоминание о меде.

– Ты не смотри, что маленькие, а мы крещеные... – схитрил Демидка в намерении одновременно и пригрозить нечистой силе, и намекнуть, что покамест несозревшие души в них кислей лесного яблока.

– Слава те, и сам я не пень лесной!.. Ладно, подымайтесь, а то всю воду выпьете у меня... – И двинулся напрямки, без тропки.

Калина шел впереди, а в лысине его, нагоняя дрему, мерцал звездный свет. Пленники тащились следом, еле волоча ноги, цеплявшиеся за корни и плауны. Недавний страх без остатка растворился в непреодолимом желании сна... И всегда впоследствии, когда ему бывало плохо в жизни, Иван Матвейч вызывал в памяти дикую красу ночного бора, и нешелохнутую тишину, проникнутую еле внятным разговором сосен, и точно окривевшую на один глаз избушку с ворохом соломы на полу, а незадолго перед тем – кованый железный ковшик с ключевой водой, где плавала и дробилась звезда, да еще черствую краюшку с ломтем старого меда, такой густоты и сытности, что и доньше у Ивана Матвейча слипались пальцы и смыкались веки от воспоминания о ночном ужине на Облоге.

Богатырским сном угостил их Калина да еще каких-то особо звонких птиц припас на пробужденье, что твои колокольцы под дугой! Но когда утром гости вынырнули из сна наружу, как из холодной, на самом стреженьке, реки, ничего не оставалось и в помине как от колдовских чар, так и от кладоискательского зуда. Лесного владыки не оказалось в избушке, и все его царское имущество было на виду: холстинковый рушничок у входа, бараний кожух на гвозде, дымарь и топоришко под лавкой и другая обиходная мелочь, пропахшая старым ульем. Да еще муравленая плошка меда светилась на столе, и в солнечном луче над нею вились три пчелы, чудом пробравшиеся сквозь затянутое паутинкой окошко. На двери чернел углем начертанный крест, и это была первая житейская подробность, поколебавшая в глазах ребят романтическую славу Калины.

Не теряя из виду сторожки, они обследовали прилегающую окрестность. Сама похожая на улей, избушка помещалась на опрятной прогалинке, сплошь покрытой глянцевитым настилом игольника, посреди отборных сосен. Самая рослая из них, в два обхвата, приходилась как раз над тесовой кровлей Калинова жилья. Наверно, старуха еще застала Федоса на земле; лишь одна ее крона, отяжелевшая от бремени столетий и распадавшаяся на островки, возвышалась над всеми Пустоша́ми. Ровесниц ей там не было даже в таком исполинском бору, и, разумеется, только в корнях ее могла бы сохраняться утаенная от Федоса казна. Гладкий, размером с молодую рысь, Калинов кот следил за всеми вороватыми движениями Демидки. Он прикидывался, будто дремал, и желтый полдень светился в его прищуренных глазах, зеленоватых, как крыжовник.

Демидка не замедлил высказать Ивану свои подозрения, после чего, как бы обидевшись, кот отправился в кусты и тотчас вышел оттуда в обличье самого Калины, да еще с бадейкой воды, к изумленью ребят. Смирные пчелы ластились к нему: он был свой и сладкий. Не подавая виду, старик сходил в дом за медом, нарезал хлеба с луком на крыльце и сел с гостями за трапезу.

– Вон и Марья Елизаровна к нам торопится, – заметил он про белку, камнем спускавшуюся по стволу из голубой, прохладной высоты. – Присаживайся, зверь, да человекам не мешай, – и кинул хлебца ей, пристроившейся на нижней ступеньке. – Вы отколе ж, такие славные бояре, будете?

– Мы не здешние, дедушка, из Красновершья мы, – сказал Демидка, как зачарованный нацелясь на белку.

– А! Давно уж, как Матвея убили, не бывал я в Красновершье-то. Дружок сердечный был, он ко мне частенько захаживал...

– Так это же папаня мой! – весь озарился Иван, потому что таким образом прямая близость устанавливалась у него с этим лесным царем, оттого лишь таким ласковым и медлительным, что уже не на кого ему было сердиться при таком могуществе, некуда спешить в его тысячетлетнем возрасте.

– Ишь как концы с началами-то сходятся! Не было ровни ему по силе... ты не в отца пошел, мамкин сын... – усмехнулся Калина, перстом доставая из меда утонувшую пчелу. – Знавал я Матвеюшку, еще лесником его знавал. Он одно время у Сапегина в службе состоял, за потачку мужикам его уволили. А тихий был... и ничего то, бывало, ни у бога, ни у людей не попросит. Тут же его и прострелили у меня, – и кивнул на видневшиеся за порогом полати с ворохом веретья на них. – Значит, потянуло его из сибирской каторги на родину, а там и караулила беглеца судьбица-то. Кабы не ружье стражничкое, и не совладать бы с им... Ну, и мне заодно влетело. Фыкин-то как налетит на меня: «Чуешь, ты, кричит, хреновая твоя башка, как я могу тебя разработать... во что превратить я тебя могу за подобное пристанодержательство... ну, укрывательство, тоись!» А сам все глазищами меня, подобно тому как саблей, пересекает. Да, слава те, отходчив: поучил малость от собственной руки, не без того, потом утих, заурчал, медком занялся. Дай ему господь здоровья!

Фыкин был становой на Енге, гроза, а по могуществу своему в сознании ребят – третий после царя и Калины.

– Крепко побил-то? – из неуловимого пока практического интереса осведомился Демидка.

– Чего, стуканул по усам разочка два!.. С него тоже службу спрашивают, а у него, не как у меня, зубов-те полон рот... есть что вышибать! Нет, ничего худого не скажешь, хороший такой, обходительный господин.

Иван слушал это признание с незнакомой ему горечью и тешил себя мыслью, что, будь Калина годков на сто помоложе, вскинул бы он Фыкина превыше небес да хряснул бы во всех регалиях оземь... но поизносились легендарная Калинова стать, огорбела спина, столько



веков служившая опорой государства российского, и от бывшего былинного удальства оставалось лишь бессильное старческое увещание. И тут впервые укололо Ивана жалостливое удивление на столь беззлобную память Калины.

– А ты чых же будешь, паренек?

– Я-то? Золотухиных я, – рассеянно отвечал Демидка, поглаживая Марью Елизаровну, настолько ручную, что уже вынюхивала что-то в его рукаве.

– Та-ак, наследник, значит... – протянул старик, наслышанный о входившем во власть красновершенском богате. – С мешком ходишь, купец будешь, в одиночку век свой проживешь: нужда-то роднит людей, а богатство их разъединяет! И захотится тебе в старости замок железный на весь свет навесить... а запор-то не вору страшен, он его с голодухи зубами сгрызет, а хозяину. Вот я тебе открою, а ты мое словечко сбереги! Как накопишь себе грудку золота, а ты от ей в одну темную ночку и утеки! Она тебя искать почнет, тикать, аукать, а ты затайся, пересиди под кусточком, не сказывайся. Пошумит, похнычет, пойдет других подлецов своей жизни искать.

– А зачем же, с деньгами-то тёпле небось! – усмеялся Демидка.

– На чужом пожаре всего теплей! – только и сказал старик, не без огорчения покачив головой. – Да что ж, грейся, коли и на солнышке озяб.

Так раскрывалась полная обыкновенность Калины. И ничего в нем тайного не оказалось, а был он всего лишь бессрочной царской службы солдат Калина Глухов, по милости Сапегина кормившийся от двадцати своих дуплянок, а меды свои возивший на продажу исключительно в Лошкарев, по другую сторону Пустошэй. Таким образом, сказка рушилась, и край света если и не пропадал совсем, то отодвигался от ребят дальше, на запад... но если один из них испытал при этом грусть первого детского разочарования, другой – освобождение от сдерживавших его пут.

Демидка как бы распрямился в то утро, словно развязали наконец; домой он возвращался с добычей. Что-то билось в его мешке, чокало и скреблось, просясь на волю... тогда он резко и властно встряхивал ношу, и движение затихало. Так поплатилась Марья Елизаровна за излишнюю доверчивость к людям.

– Покажи... – попросил Иван и долго, виновато разглядывал в глубине мешка усатую, слегка притуплённую мордочку с быстрыми блестящими глазами. – Когда ж ты ее... успел?

Оказалось, Демидка взял ее, пока старик водил Ивана на пасеку показывать свое гудучее царство, и спрятал в дупле, на дороге, привалив тяжелым комлевым поленом.

– Хватит, а то ускачет, – сказал он, по-хозяйски закручивая мешок.

– Отпустить бы... нехорошо! – намертво вцепившись, заикнулся Иван.

– Полно чудить-то, парень, мы ее к делу определим. Ты на жизнь крепче смотри, а то, я гляжу, сердчишко в тебе больно трясливое... – и все зализывал свежие прокусы на руке. – Не бойся, старик другую себе привадит!

– Жалко, живая ведь!

Демидка без труда оторвал от мешка его руки, впервые применив явное преимущество старшинства и силы.

– Рыба тоже живая, и ты ее ешь.

– И рыбу жалко...

Кстати, выяснилось на прощанье, мальчишки напрасно целый день блуждали накануне – прямым путем до Калины было два часа ходу, бегом еще ближе. Как вчера Иван, теперь уже Демидка с трофеем за спиной шествовал впереди. К концу пути у него созрел план дальнейших коммерческих операций, и, едва завиделись деревенские задворки, он повернул мимо Заполосок на проселок, к сапегинской усадьбе. От скуки там покупали всё, что приносили красновершенские и других деревень бабы и подростки, даже полевые букеты. Демидка не сомневался, что и белка на что-нибудь сгодится в мудреном хозяйстве у бар.

## 4

Ребята отыскивали знакомый лаз в белой каменной ограде, пересекли лиственничную аллею с запущенным прудом в конце и напрямик, через парк, вышли на площадку перед террасой, густо обвитой каприфолью. Пришли они явно не вовремя: в доме сидел гость, сам великий Кнышев, а чем он был велик, того еще не ведал пока никто на Енге. У каретника гнедой норовистый конек, запряженный в ковровые, на железном ходу дрожки, хрупал овес, обмахиваясь хвостом от паутов. На этот раз некому было прогнать ребят, словно и челядь и собаки – все попыталось от лютых сапегинских гостей.

По давности лет уж выпало из памяти Ивана Матвеича, присутствовал ли при этом Пашка Летягин, встретившийся им по дороге, или же вдвоем сидели они с Демидкой до полной одури на скамеечке под террасой, откуда доносился звон посуды и неразборчивая, лишь по позднейшей догадке восстановленная речь. Там происходил обычный торг – с обманом, уходами и ленивыми взаимными угрозами, хотя обе стороны, разморенные жарой, одинаково стремились к благополучному завершению дела.

– А ты погоди, Софья Богдатовна, дай и нам слово молвить, – говорил простуженный, как из погреба, голос. – Ну смотрел, смотрел я твою лесную дачу, все утро на пару с Титкой выхаживали. Сколько мы с тобой насчитали, Титка?

– Да ведь как считать! Ежли со снисхождением, деток ихних жалеючи, считать, то десятин без малого тысяч семь наберется, – безразлично проскрипел второй, не иначе как приказчик покупателя. – Коснись меня, так я и дарма с подобным лесом связываться не стал бы... дело хозяйское!

– Да что вы, господа... – заволновалась пожилая женщина, видимо сама помещица. – У меня же и бумаги гербовые на лес имеются, я таксатора нанимала. Там сосны одной девять верных будет, да за Горышкой липового клина десятин тысячи две.

– То-то и горе, что мелковата твоя десятинка, Софья Богдатовна... В Европе две-то тыщи десятин – целое королевство. Да и не гонюсь я за липой... липу я тебе всею оставляю, только корье с ней заберу. А бумага?... Осподи, да прикажи, я тебе за красненькую такую бумаженцию предоставлю, будто ты и есть генерал Скобелев с усами, во как! – машисто сказал первый под рассыпчатый Титкин смешок. – Извини, хозяйка, что я так, попросту с тобою, от души. Ой, держись, Титка, опять она нам наливает... ой, хитра! Спорить нам нечего, можно и еще разок шагами промерить. Займись-ка с утречка, Титка... прихвати с собой и барыньку, погуляй с ей вдвоем.

– Ноги свои, не купленные, – согласился приказчик и зевнул в знак полной своей незаинтересованности. – Можно и еще разок сгулять.

Снова заговорила хозяйка:

– Ладно, предположим... пусть будет всего только восемь. Однако у меня сейчас денежные затруднения, и мне хотелось бы теперь же знать, сколько я на руки получу. Если даже по семидесяти кубов взять на десятину...

– Да откуда ж там семьдесят, ваше степенство? – фальшиво взмолился Титка о пощаде и снисхождении, – Да там от силы, пошли господь, хоть сорок-то наковырять.

– Ах, ах! – как под ножом, стонала кнышевская жертва. – Где ж у вас совесть-то, господа?... да как же вы с бедной вдовой поступаете? Мне тогда придется к закону за защитой обратиться.

– А зачем его, батюшку, зря будить-беспокоить? Кабы мы еще на тебя с кистенями навалились, тогда другое дело. Мы, голубка ты наша, и так уйдем, пушай спит твой закон... Ты чего к месту прирос, Титка? Вставай, дуборос, кланяйся за угощение... поехали!

Послышался беспорядочный треск сдвигаемой мебели, шарканье ног и беспомощные женские вздохи.

– Я все же прошу вас присесть, господа... и войти в мое положение: я уж вам открываюсь, как на исповеди! У меня сгрудились срочные платежи, и проценты в банк совсем замучили. Кроме того, внуки малые на руках, да еще зять психопат... Отвернитесь, не слушайте, дети. Ну, просто выдающийся психопат! – повторила она с таким страдальческим выражением, что теперь со стороны купцов было бы бессердечно не надбавить цену. – Давайте же прикинем хоть начерно. Даже если по-вашему... скажем, восемь тысяч десятин по сорок кубов... пусть будет по пять рублей... хорошо, даже по четыре с полтиной за сажень. Посчитай на листочке, Коко, сколько получается... и не щипай Леночку, стыдись: ты уже мужчина!

Наступила пауза, и потом срывающийся от волнения детский голос объявил причитающееся к платежу в миллион триста сорок тысяч, а это показывало, в свою очередь, что мужчина был не слишком силен в арифметике.

– Ну, вот... – упавшим голосом сказала хозяйка, и мальчикам стало ясно, что барыню победили.

– Такие деньжищи только в задачниках Евтушевского попадают, обожаемая, – жестко и речисто отрезал главный покупатель. – Ты не барыши свои, ты мои убытки считай. У тебя там одной гари поболее двух тыщ будет, а куды мне ее к черту... разве только самовары ставить? Так мы чайком-то почти и не балуемся!..

– Господи, да с него обопьешься, с чаю-то! – весело хохотнул приказчик.

– ...да еще прогалины среди лесу, да поруби, да короедом побито... а мне лес-то – не по грибы ходить, мне шпалы из него тесать, голубушка, по ним люди ездить станут. Как на духу тебе сказать, там и лесу-то настоящего нет.

– Вот как мы на Больше, у графа Чернышева дуб валили, так то лес был, – скороговоркой вставил Титка. – Глянешь наверх-то: мамынька моя родимая, сердце обомрет!.. Ровно тятеньку под корень рубишь, а тут...

– Помолчи, Титка, – оборвал главный. – Лес-лес, а ты сама в том лесу бывала хоть разок, Софья Богдатыевна? В России все под лесом числится, где косе ай серпу делать нечего, А его, лес-то русский, питерский чин в халате циркулем по карте считал. На поверку же гарь да топь, щучкой поросла... бурелом да подтоварник, а иной вовсе у черта на рогах... эва, достань его! Его пока до катища дотянешь, бородой по пояс обрастешь, понятно?

– Господи, да чего ж вы на меня в четыре руки напали... – оборонялась, как могла, хозяйка.

– Терпи, раз уж подпоила. И лес-то твой от здешних мужиков краденый: слышали мы про тяжбу твою... и сам я тоже не лучше тебя, вор, раз краденое покупаю. И не дай бог, запоет красный петушок на Руси, на одной вожже нам с тобой, милая барынька, висеть-прокляжаться. Оба мы, ты да я, с бритвы мед лижем, понятно? Вот тебе мой счет: по выплате банковской ссуды и куртажа сутягам, на руки тебе сорок тысяч... да от зятя береги, пропьет! Подмазка в губернии твоя, мое дело – топор. Остальные полтора года к Новому году. Думать до завтра, а то на Дон укачу.

– Ой, не щедрился бы, Василь Касьяныч... проторгуемся! – костяным голосом подзадо-рил Титка.

– Э, бог с ей: детишечек ейных жалею!.. А нас пуцай осподь за печаль нашу вознаградит. Теперь наливай, барынька, да вели-ка нам яишенку спроворить, а то отошали мы у тебя...

Так просватали под топор знаменитый Облог на Енге. Пышное великолепие усадьбы, мнившейся ребятам волшебным раем, давно носило следы крайнего упадка. Отмена крепостного права, лишившая дворянское сословие даровой рабочей силы, заставила покойного Сапегина заложить имение в банк для других, новейших, по моде века, сельскохозяйственных начинаний, они должны были озолотить его, но не озолотили. И как свалился, так и покатилося все

под гору: вымер от поветрия породистый скот, рухнули оранжереи с приколотыми к стенам шпалерными абрикосами, сквозь осыпь штукатурки в углу гостиной стало гнилое дерево проступать. Одна сирень, буйствуя по веснам, распространяя густой, до головокруженья, аромат, наступала на цветники, выползала на дорожки, прикрывая полуразоренное дворянское гнездо. Старый управитель Аверьяныч, правая рука и око покойного Сапегина, погрузился в непробудное пьянство, и таким образом хозяйство перешло в руки самой Софьи Богдатовны, еще в университетские годы вывезенной из Померании, – дамы рыхлой и болезненной, умевшей только серебряные ложки считать да ставни на ночь запиравать от воображаемых злоумышленников. Основное старухино богатство состояло из переспелых, никому в том краю не надобных лесов; в связи со слухами о скором проведении чугунки через Лошкарев на Вологду ей представлялась последняя возможность выбраться из затруднений. Сам бог посылал Кнышева, хоть и нетрезвого, на ее вдовье горе.

Сделку надлежало sprysнуть, а так как за столом сидели лишь женщины да дети, Титка же не смел, находясь при должности, то гость sprysкивал в одиночку за всех по очереди и скоро достиг того окоселого состояния, когда необходимо стало либо выносить его на сеновал, либо самим выбираться на свежий воздух. Тут все Сапегины и высыпали на ступеньки деревянной лестницы, с каскадами отцветшей каприфолии на покосившихся перилах.

Впереди выступала огромная старуха в лиловой люстриновой юбке, вся в пунцовых пятнах недавнего волнения по землистому, нездоровому лицу. Собственно, она в полном одиночестве коротала век в усадьбе, – только в летние каникулы у ней гостила дочка с сыновьями от незадачливого брака. Оба они и шли сейчас рядом с бабушкой, стриженные, с синими подглазьями, аккуратные мальчики в парусиновых гимназических курточках. Ивану запомнилось: старший из любознательности надевал желтого слепня на соломинку, а младший рассеянно жевал травинку. «Не жильцы на белом свете», – чуть свысока усмехнулся на них Демидка.

Главной барыне не понравилось присутствие посторонних, хоть и детей, в такое время: она ворчливо осведомилась у подвернувшейся горничной, не появлялся ли Аверьяныч, но нет, Аверьяныч пока не выплывал, как та выразилась, *насосамились* с вечера.

– Ну, что у вас там, милые пареньки? – спросила хозяйка издалека.

– Вот белка... – буркнул Демидка, сдергивая картуз, что сразу расположило старую барыню в его пользу.

– А у тебя что? – обратилась она в Иванову сторону.

– Мы все вместе, – отвечал Панька Летягин, который присоединился по дороге и, значит, также участвовал в продаже Марьи Елизаровны.

Пятеро Сапегиных, если не считать горничной, тотчас окружили продавцов, и пятою была девочка лет пяти в затрапезном, бывшем розовом платишке, с непонятными Ивану цветными кружками и полосками по лицу. Кто-то из мальчиков разрисовал ее под индейца детской акварелью; маленькую звали Леночкой. Ей тоже хотелось полюбоваться на лесного зверька, но все ее попытки оказывались напрасными, пока не догадалась пузыриком протиснуться между ног старшего гимназиста. Довольно звучно тот щелкнул ее перстом в затылок, меж косичек, и она безжалобно отползла назад, на крокетную площадку, приученная к второстепенному положению в доме.

– Покажите вашу белку, дети, – приказала барыня помоложе с унылым и таким длинным носом, что пока доберешься взглядом до конца, приходилось возвращаться назад, чтоб вспомнить начало.

Отважно, хоть и зажмурясь, Демидка запустил руку в мешок и выхватил за шейку Марью Елизаровну. Та не сопротивлялась, еще не знала, что обычно все живое здесь ласкают до смерти, после чего с подобающим пением хоронят на крошечном погостике рядом с прежними любимцами мальчиков Сапегиных. Демидка держал белку прочно и потискивал слегка – не затем, чтобы отомстить за покусы, а чтобы барчукам захотелось поскорее избавить бедную от

мучений. Тут все принялись упрашивать Демидку, чтобы не причинял боли божьему творению, и неравный поединок длился до тех пор, пока слабые не сдались. Мать разрешила сыновьям истратить содержимое своей копилки и прибавила по-немецки, чтобы учились на примере вести торговые операции с крестьянами.

– Сколько стоит? – сладким голосом спросил младший, умильно взирая на затихший рыжий комочек с обвисшим хвостом.

Тогда старший подкинул в воздух слепня, улетевшего со своим грузом, и деловито отстранил брата.

– Скажите, это у вас хорошая белка? – приступил он, держа руку на пряжке ремня.

– Злющая, первый сорт, еле с дерева оторвал. Што кровишки вытекло: прямо один купорос с ею! – И показал свободную пораненную руку, чтобы поднять цену товара.

– Значит, она у вас кусается? – чуть отступив, спросил младший.

Демидка презрительно глянул ему в ноги:

– О, и не думает. Это я сам об нее искомвенился... – Ложь оказалась своевременной, так как дурной характер белки мог и отпугнуть покупателей. – Она у нас смирная, Марьей Елизаровной зовут.

Среди обитателей усадьбы начался спор, куда поместить белку, и бабушка советовала поселить ее в клетке погибшего накануне щегла, молодое же поколение намеревалось держать белку на тонкой, совсем незаметной проволочке вокруг горлышка, чтобы не стеснять ее свободы.

– А ее можно мылом мыть? – кротко поинтересовался младший, пока другие продолжали спор.

– Мылом-то? – с видом знатока задумался Демидка. – А чего ж, можно и мылом. Да она и в бочке проживет, если кормить. Окромья огурцов, все жрет... мелкому зверю, главное, костей не давать, чтоб не подавился.

Тут Ивану стало не то чтобы противно, он еще не понимал существа частной коммерции, а как-то не по себе... Сперва его внимание привлек Титка в щипаном сюртучке, выползший наружу, чтобы не сквернить махоркой господских хором. То был сухопарый, старый плут с продавленным внутрь лицом и до такой степени выдвинутыми вперед губами, что непонятно становилось, чем можно было добиться такого поразительного результата. Он похаживал на террасе, злорадно ковыряя ногтем лупившуюся краску... И вдруг еще неизвестная Ивану сила подвела его ко всеми оставленной Леночке, которая жизнерадостно, усевшись на крокетной площадке, наслаждалась горсткой незрелой бузины в подоле платья.

Иван рассудительно покачал головой:

– Ты смотри, этого не ешь, от них помирают... в желтый песочек уложат, – и по праву старшинства, отобрав ягоды, покидал в кусты. – Кто это тебя, несчастную, так размалевал?

– Братишки... – кротко отвечала маленькая.

– Иди смой... нехорошо: люди смотрят! – почуввав в ней родню, посоветовал Иван. – Ну ты чего больше всего на свете любишь?... скажи, я тебе достану.

– Птичку, – улыбнулась девочка, слепительно глядя в самую душу Ивана.

И за один тот синий взгляд, за тоненькую, еще неосознанную боль детского сочувствия на всю жизнь полюбил он эту невозмутимую замарашку, как и Калину Глухова с его родничком.

– Тогда уж я тебе сыча принесу... у меня есть на примете. Только, смотри, его мышами надо кормить... ничего, наловишь! Я тебе за так, без денег принесу, – прибавил он тоном поглубей, чтобы не ронять мужского достоинства. – Ты отпросись завтра к пруду в это время... придешь?

Сыч попался отличного качества, с когтищами, еще дитенок, но уже страшный; сквозь громадное, как тулуп, серое с белыми крапинками оперенье прощупывалось воробьиное

тельце. Иван прождал у пруда до вечера, целую тропку натоптал в траве, но женщина не пришла на свиданье. Оно состоялось только через семнадцать лет.

С той поры Демидка стал придворным поставщиком барчуков. Для них ловил он птиц на привадах и водопоях, сучьем заваливая ручеек и накрывая лоскутом рыбацкой сети крохотное зеркальце воды. Пленницы нуждались в пище, – он с малых лет обучился пользоваться смиренным обездоленных, сваливая муравьиные кучи на току, откуда труженики сами стаскивали ему под разостланную холстину желтоватое отборное яйцо. Воробьев и зябликов он продавал за соловьев, на опыте постигая искусство торгового обмана, помогавшего ему брать вчетверо против того, что было затрачено на легкий труд поимки. На глазах у потрясенных гимназистов, облепленный пиявками, он вычерпывал карасей из тины сапегинского пруда и никогда не отпускал товара в кредит; когда же у покупателя не хватало наличности, принимал в уплату все – от стальных перышек до византийских монеток из потихоньку разграбляемой нумизматической коллекции деда. И хотя они не имели хождения в трактирах империи, Золотухин с одобрением следил, как у его любимца пробивается первый кулацкий зубок. В этой встрече двух соперничающих сословий обе стороны ненавидели друг друга, но Демидка был сильнее: на спесивую заносчивость квелых, всегда с завязанным горлом барчат он отвечал затаенной мужицкой ненавистью.

... Остаток лета Иван почти сплошь провел у Калины; мать отвыкла кликать его к ужину. Их день начинался с зорьки, когда первый луч вместе с птичьей переключкой цедится сквозь туман в голубоватый, влажный сумрак леса. Старый и малый обходили свою державу, неслышно подсматривая новости: как поживает господин барсук в своем кургане или как в четыре приема, всякий раз с детенышем в зубах, перебирается на новую квартиру сестричка несчастной Марьи Елизаровны, – вековой настил хвои скрадывал шорохи людских шагов. Обычно маршрут повторялся, но в лесу, как в хорошей книге, всегда найдется непрочитанная страница. Здесь, в дороге, Калина учил своего питомца узнавать по росам погоду, а урожай по корешкам лесных трав – и прочей тайной грамоте леса, в которой скопился тысячелетний опыт народа.

Поход завершался на высоком бережку Енги; был там один заветный мысок, поросший кошачьей лапкой. Далеко внизу, где в тонком разливе воды просвечивали мели и перекаты, буксиришко оттаскивал на зимовку целое семейство пестрых бакенов, и коршун парил с кровавым отсветом заката на крыле. Сказка кончалась, шла осень, все голей становилось вокруг.

Старик давно переступил рубеж, за которым стирается разница возрастов. То была немногословная дружба старого и малого, без боязни разлуки, но и без фальшивого обоюдного ласкательства. Один примиренно прощался со всем, что принимал в свои руки другой. О себе Калина рассказывал скупно, но можно было понять между слов, что чарку своей жизни выпил он, не поморщась, и было бы совсем славно, кабы толченого стекла щепотка не оказалась на донышке. В этих рассказах кончался сказочный Калина и начинался милый, вдвое дороже мальчику, телесный человек.

– Значит, и не святой ты, дедушка?.. значит, и ты помрешь, да? – разочарованно спрашивал Иван.

Тот смеялся и прощальными глазами обводил багряные, уже облетающие ближние леса за Енгой, поля с неубранными кое-где крестцами снопов, и дальше – свежую песчаную, убегающую вдаль, насыпь неизвестного пока назначения, и на горизонте – город Лошкарёв, за пятнадцать верст сверкавший своими точно фольговыми окошками. Калина охотно разъяснил приятелю свою веру, ставшую впоследствии верой и самого Ивана Матвеича. И если б пригладить его слова на книжный образец, получилось бы, что нет бога на земле, а только никогда не остывающий хмель жизни, да радости пресветлого разума, да еще желтая могильная ямина в придачу – для переплава их в еще более совершенные ценности всеобщего бытия... Как всегда, старик плел очередной кузовок, а мальчик лежал на спине и глядел в небо на спокойный,

растянувшийся клин улетающих журавлей с чуть оторвавшейся точкой, вожаком, впереди. Детскому разуму трудно было понять мудрость Калины, но голубой отсвет ее Иван унес с собой в жизнь и однажды даже попытался воспроизвести ее по памяти в одном петербургском споре о личном бессмертии.

Не меньшую осведомленность проявлял Калина и в отношении нечистой силы. За долгий срок раздольной столичной жизни старик выяснил с достоверностью, что черти бывают двоякие, и лишь низшие из них, встречаемые в местах присутственных, отмечены смрадом и прыщами исключительной неприглядности. Старшие же – малодоступные для всенародного обозрения – нередко отличаются даже чрезмерным благообразием, квартируют в нарядных хоромах, откуда и взимают подать с православных: жирную еду, рекрутов для сражений, девок для баловства, кормилиц для питания не окрепших пока чертенят. Следовательно, и опознаются они не по хвостам, не по серному дыму при дыхании, а, как правило, по тягостям, причиняемым простым людям... Покончится же все это Страшным судом, где обелятся труженики, нечисть же сгинет навеки. На доверчивый вопрос Ивана, помогает ли свящёная вода от нечистой силы, старик отвечал, что очень неплохо воздействует, коли спустить поглубже и малость придержать за хохолок.

– Вот бы повидать ее, темную-то силу! – вздохнул Иван, слушая слабый плеск реки внизу, на отмели.

– Погоди, малый, еще налюбишься!

Мальчик познакомился с нею в ту же зиму.

## 5

Крупнейшая лесная операция на Облоге была обставлена с кнышевским размахом. За месяц до начала Титка объездил с угощением все прилежащие деревни, – тут и старухам досталось по стаканчику. Железнодорожники торопили поставщиков. В ту осень первопуток установился ранний, и однажды с рассветом, тотчас за Димитровым днем, тысяча саней со всех концов устремились к Облогу. После гульбы накануне мужики ехали качаясь и распустив вожжи; у каждого шумело в голове и тускло поблескивал топор за поясом. Непроспавшееся солнце подымалось над бором, когда пали на снежок первые сосновые хлысты. Не втянувшись пока в работу, лесорубы курили и толклись без дела, наблюдая, как более ретивые довершали приземистые курные избушки и всякую подсобную снасть для разделки леса.

– Чего заглохли, окаянные... чего, дятелки, не постукиваете? – торопил и грозился, умолял и науськивал вконец осипший Титка, такой суетливый, что четверился в похмельных глазах мужиков. – Чугунка придет, ситчиком вас завалит... то-то попируем, деточки! А ну, навалились, родимые... – и еще разок сбрызгивал свою армию водчонкой.

Тут, как на поджоге, требовалось лишь огонька заронить, дальше само шло, а распродавшийся Золотухин то и дело посылал в Лошкарев за спиртным подкреплением.

– Вот она с чего и не стреляла, не заряжена была... – говорил иной, берясь за рукавицы либо оправляя бороду после чарки. – А ну, где он там, космач-то наш?

Со вторым рассветом грянул железный ливень по Облогу, низовой ливень в тысячу дружных топоров. Рваный гул огласил окрестность, и, как над всяким побоищем, взмыла и загорланила черная птица. Целых два дня бор стоял несокрушимо, словно каждую ночь свежая смена заступала место павших; к концу третьего, когда артели врубались в чащу, Облог дрогнул и заметно попятился; дело пошло спорей. Сваленный лес тут же превращали в тесаную шпалу либо в подтоварник и просто на швырковое полено... потом везли куда-то в сизую, мерзлым туманцем подернутую даль, где раньше в эту пору, бывало, учились подвывать волчьи выводки, а теперь, если только не мнилось уху, уж продирался сквозь тишину паровозный свисток... Сосну берут по март, покуда крепок санный путь, и Кнышев торопился, чтобы с мая взяться за липу, тотчас по началу сокодвижения.

По свойственной ребятам жажде новизны, мальчик с обостренным любопытством, но без страха за своего милого приятеля принял весть о разорении Облога. Наверно, как все лесное в эту пору, спал старик в непролазных сугробах, и невероятным казалось, чтобы даже такая беда пробудила зимнюю спячку Калины. Вдруг на рождестве ужасная тоска потянула Ивана в лес. Вечером накануне ударил морозец, праздничное оживление с утра воцарилось на дороге, усеянной корьем и клоками сена. Навстречу тянулись подводы с разделанным лесом, пела под полозом остекленевшая колея. На полпути Ивана подхватил возвращавшийся порожняком Пашкин отчим. Лошаденка попалась резвая, домчались мигом. Облог объявился точно графитом нарисованный на полупрозрачной кальке. Дальше Иван пошел пешком.

Вкусно, хвойным дымом и смолой несло с лесосеки, где махали топорами, кричали на лошадей, плясали со стужи, разбирали вагами сцепившиеся кряжи и жгли навалы сучья в громадных смирных огнищах. В утреннем сумраке таинственно и розовато светился запорошенный лес. То и дело по нему шарахались тени, когда с мерным выдохом ложились деревья. И уже уносили среди криков молчащего, с немигающим взором бородача, которого Облог лапой нахлестнул, защищаясь повадкой ослепленного болью зверя.

Словно в плечико толкнули, мальчик двинулся влево, где за лесным выступом шумел другой такой же табор. Обширная, отлого сбегавшая в лощинку порубь с торчащими кое-где метелками подлеска открылась его растерянным глазам. Он не узнавал Облога и знаменитую рослую сосну, разметавшую в небе снежные космы, опознал лишь по черневшей под нею Кали-



новой избушке; вокруг нее толпились народ. Из страха опоздать к чему-то главному, мальчик ринулся напрямую через сечу и долго не мог пробиться сквозь людское кольцо, под локтями у взрослых.

– Эй, куда тебя несет, малец? – спрашивал кто-то сверху.

– Я к дедушке Калине, – просительно отзывался Иван, и его пропускали.

На истоптанном дочерна снегу толпились лесорубы. Понуро и недоверчиво, как на диво лесное, взирали они на старика, сидевшего возле своей нетопленной, с распахнутой дверью хатки, на свежем пеньке. Калина был без шапки, какой-то чистенький и помолодевший, на плечи накинута кожанка; медноватый свет его последнего солнца отражался в лысой голове. Видимо, происходила прощальная беседа, однако не она одна привлекла сюда лесорубов. В сторожке подкреплялся медком и рыжиком Калинова засола сам Кнышев, наехавший произвести порядок на Енге. Всем была охота взглянуть на знаменитого деятеля, который, по слухам, вырубил полмиллиона десятин и снял зеленую одежду с трех великих русских рек.

– Так-то, хорошие вы мои, детки несмышленые... – говорил Калина тихо и ровно, словно читал по книге. – К тому я и веду, что прозябнет земля без своей зеленой шубейки и здоровьишко станет у ей шибко колебательное. Будет коровка по семи верст за травинкой ходить, а раньше с аршина наедалась. И будет вам лето без тучек, иная зима без снегов... и поклянут люди свое солнышко! И захотится в баньке веничком похлестаться, а нету. А случится вам сказывать, как на бывалошних-то пнях человек врасстяжку ложился, и внуки вам не поверят. И как побьете до последнего деревца русские-то леса, тут и отправитесь, родимые, за хлебушком на чужую сторону!..

Слезаясь, невидящим взором он обвел оголенное пространство перед собою, ближний край обреченного леса, лица мужиков, Иваново в том числе, и уже не признал своего юного друга. Та же злая сила, что по частям отобрала у него зубы, радость, русые кудри, пришла теперь за его душою. И опять, к великому огорчению Ивана, не гнев, не жалоба звучали в речах Калины, а только жалость к остающимся.

– Теперь уж чего там головами качать! – так же прощально, словно с другого берега, отвечал один из тех, к кому обращался Калина. – Раз что начато, то надобно заканчивать...

И тогда Иван увидел Кнышева, показавшегося из сторожки в сопровождении постоянной свиты. Это был хорошего роста господин в сборчатой поддевке гладкого синего сукна, нестарый, даже в полной мужской поре, только слегка одутловатый, с водянистыми, выпцветшими и чуть навывкате глазами, по каким узнаются убежденные противники виноградного вина, со стриженной по моде своего сословия бородкой, в иных поворотах почти былинный молодец, если бы не крупные уши, похожие на те державки, что приваривают к чугунным трамбовкам для удобства в обращении с тяжестью. Вышел он заметно навеселе и скушал конец Калинова сказа, мизинцем сковыривая вощину с зубов. По сторонам его встали коротконогий Титка, весь подавшись вперед, с длинными, обвисшими вдоль тела руками, и длинный, изможденный, как бы сам себя съедающий Золотухин, с маленькой клювастой головкой на длинной шее и со сверлящим взглядом жестяных непокойных глаз, – уже на склоне лет, хотя покамест седины у него было больше, чем лысины. В знак подчинения заведомой силе Кнышева он стоял с обнаженной головой и свой тяжелый, с высокой тульей картуз держал чуть на отлете в откинутой руке... Кстати сказать, он с самого начала и вместе с сыновьями прикрепился к прославленному мастеру лесного барыша не столько ради заработка, сколько для самообразования на коммерческом поприще. Оба, Титка и Золотухин, обезьяна и ястреб, готовы были ринуться на выполнение любого хозяйского приказа.

– Полно вякать-то, дед... не отпевай Расеи раньше срока. Да шапку надень, простынешь, плешивый дьявол, – сдержанно посмеялся Кнышев, упруго спускаясь со ступенек, и все поколебались в мысли, может ли действительно такое время подступить, чтоб со всей русской земли

банного веника не наскрести. – Эко развел надгробное рыдание, прости господи, а самому небось еще да еще пожить охота... ась?

– Ох, деточки, – простодушно покался Калина, – у моря согласен песок считать, абы добавочек выдали! Вот ровно бы и тыщу годов прожил, уж и ноги заплетаются, а пуще меду ндравится она мне... жизнь!

– С чего ж тебе не жить! – покровительственно вставил Золотухин. – Покуда самолично сидишь да еще людей пугаешь, значит, ты у нас еще не старый.

– А я и есть молодой, да вот годков-то на плечи навалилося.

– Вот и живи: тыщу прожил, вторую откупоривай... правильно сказал я, сынки? – бросил Кнышев в расступившуюся толпу под одобрительный гул лесорубов. – Ну-ка, поднеси ему, Титка!

Немедля плоская серебряная фляжечка появилась в проворных руках приказчика. Он налил с верхом, и Калина лишь головой покачал, узнавая родимую, и все облегченно вздохнули, что вот, дескать, и властители, а не обделили старика. Произведя же затравку, Кнышев замолк, и дальнейший разговор вели на смену его сподручные.

– Небось немало повидал за тыщу-то годов, Калинушка?

– Не счесть, милые, всего было. Ить я в кирасирах служил... кони вороные при черном седле, салтаны на касках: нам обмундировка хорошая полагалась. Опять же завсегда трубачи впереди! То-то, говорю: в кирасирах... потом за год до крестьянского освобождения в драгунов нас произвели...

– И самому повоевать пришлось?

– В Крыму-то, было дело, коня подо мной ядром зашибло. Я во младости-то, ух, удалой был... в эскадроне песельником состоял.

– Ишь ты! Бровь-то у тебя посечена, видать, от сабли. Охромел не на войне ли?

– Не, то потом... лошадка подо мной оступилася, а нога-то в стремени: бальер брали при самом государе... ну, который нонешнему-то отец. Промежду прочим, на потретах неверно его указывают: он больше в рыжеватину вдарял, усы во всю щеку. – С непривычки Калина быстро захмелел, а у Ивана дважды сердце кровью облилось на его жалкую пьяную разговорчивость. – А еще скажу про лес вам, деточки...

– Про лес ты потом сбрешешь! – оборвал Титка. – Ты нам чего посмешнее доложи. В Санкт-Петербурге небось кухаркам спуску не давал? Столичные-то бабеночки, они форсистые поди, а? – играющим голосом продолжал он, кося глазом в толпу, для снискания симпатии у этой голытьбы, нанятой по четвертаку в день.

– А чего ж дремать-то с ними! – отвечал за Калину Золотухин под невеселый, недружный смех мужиков. – Знай веселись, заводи под корень.

– Забыл уж я про то, годов много... больше о братьях думал, – отнекивался Калина. – Все они перемерли, пока я там в Питере государевы бальеры брал.

– Ай хворость какая?

– Да ведь колюку в недород, перекаати-поле по-нашему, ели. Толкли да ели. Видать, обьелися.

– Вон к чему чревоугодие-то приводит, – сдуру маханул Титка, и вдруг все помрачнело кругом, и самое солнце от стыда спряталось.

С глазами, полными слез, Иван глядел в снег под собою: подступал конец его сказки. Правда, добрая половина Облога стояла еще нетронутый, но в сознание мальчика бор перестал существовать одновременно с гибелью той могучей хвойной старухи, что осеняла Калинову кровлю. Оставлять ее было немыслимо: в первую же пургу, при падении, она раздавила бы Калинову сторожку, как гнилой орех.

– Теперь раздайсь маненько, православные, – тусклым голосом сказал Кнышев. – Дакось и мне погреться чуток!

Неожиданно для всех он сбросил с себя поддевку и остался в белой, кипения белей вышитой рубахе, опоясанной кавказским ремешком с серебряным набором. Десяток рук протянули ему сточенные, карзубые пилы; он выбрал топор у ближайшего, прикинул на вес, одобрительно, на пробу, тронул ногтем лезвие, прозвеневшее, как струна, плюнул в ладонь, чтоб не скользило, и притоптал снежок, где мешал, – прислушался к верховому шелесту леса и неторопливо, как на эшафоте, с маковки до пяты оглядел свою жертву. Она была неслыханно хороша сейчас, старая мать Облога, в своей древней красе, прямая, как луч, и без единого порока; снег, как розовый сон, покоился на ее отяжелевших ветвях. Пока еще не в полную силу, Кнышев размахнулся и с оттяжкой на себя, как бы дразня, ударил в самый низ, по смолистому затеку у комля, где, подобно жилам, корни взбегали на ствол, а мальчик Иван чуть не ахнул от удивления, что кровка не забрызгала ему рук.

– Вот как ее надоть, – наставительно промолвил Золотухин. – Учитесь!

Сперва топор отскакивал от промерзлой заболони, но вдруг железо остервенилось, и в воздухе часто засверкала мелкая, костяного цвета щепка. Сразу, без единой осечки, образовался узкий, точный выруб, и теперь нужна была особая сноровка, чтоб не увязнуть в древесине топора. Звонкие вначале удары становились глуше по мере углубления в тело и подобно дятловому цокоту отдавались в окрестности. Все замолкло кругом, даже лес. Ничто пока не могло разбудить зимнюю дрему старухи... но вот ветерок смерти пошевелил ее хвою, и алая снежная пыль посыпалась на взмокшую спину Кнышева. Иван не смел поднять головы, видел только краем увлажнившегося глаза, как при каждом ударе подскакивает и бьется серебряный чехолок на конце кнышевского ремешка.

Зато остальные пристально наблюдали, как разминается застоявшийся купец. По всему было видно, что он хорошо умел *это*, только это и умел он на земле. В сущности, происходила обычная валка, но томило лесорубов виноватое чувство, будто присутствуют при очень грешном, потому что вдобавок щеголеватом и со смертельным исходом, баловстве. И хотя Кнышев действовал без передышки, все понимали: он несколько подзатыливает свое удовольствие, чего простые люди никогда не прощали и заправским палачам... Чтоб довершить дело, купец перекинулся на другую сторону: до конца оставалось стукануть разок-другой. Никто не слышал последнего удара. Кнышев отбросил топор и отошел в сторонку; пар валил от него, как в предбаннике. Подоспевший Золотухин молча накинуд поддевку на его взмокшие плечи, а Титка звучно раскупорил ту плоскую, серебряную, неусыхающую. Сосна стояла по-прежнему, вся в морозном сиянье. Она еще не знала, что уже умерла.

Ничто пока не изменилось, но лесорубы попятились назад.

– Пошла-а... – придушенно шепнул кто-то над головой Ивана.

Всем ясно стало, что когда-то и Кнышев добывал себе пропитание топоришком, и теперь интересно было проверить степень его мастерства: соскользнув с пня при падении, сосна, как из пушки, могла отшвырнуть Калинову скорлупку...

Еле заметное движение родилось в ветвях, что-то деловито хрустнуло вниз и мелкой дрожью отозвалось в вершине. Сосна накренилась, все вздохнули с облегчением; второй заруб был чуть выше начального, лесина шла в безопасную сторону, опираясь в будущий откол пня. И вдруг – целая буря разразилась в ее пробудившейся кроне, ломала сучья, сдувала снег, – сугробы валились наземь, опережая ее падение... Нет ничего медленней и томительней на земле, чем падение дерева, под чьей сенью посещали тебя смутные грезы детства!

Не дождавшись конца, весь содрогаясь, Иван отправился побродить по оголенному пространству. Он вернулся, когда миновал приступ отчаяния; нигде не видать было Калины, народ разошелся, только один досужий старичок, верно для грядущих поколений, мерил четвертью поваленное явление природы, в срубе доходившее ему до шапки, да еще на крыльце, уже в дорогой дохе, закуривал сигарку Кнышев. Непонятно по прошествии стольких лет, откуда у тихого крестьянского отрока взялась такая ярость... но следует допустить одно для пони-

мания всего дальнейшего: призвание смолоду ведет человека по искусно подобранным зрелищам бытия, чтобы воспитать в нем сноровку и волю на осуществление его исторических целей. Можно только гадать, каким чудом оказалась у Ивана рогатка Панькина, кто вложил ему камень в руку посреди зимы.

Кнышев успел выпустить первое облачко дыма, когда в щеку ему угодил Иванов гостинец. Произошло замешательство, скверная брань вспыхнула, причем по вдохновению Иван крикнул изобретенное им словцо, прогремевшее потом на всю Енгу... и опять неизвестно кто подшепнул ему о страшной кнышевской болезни. Подоспевший Титка псом бросился на обидчика, пустившегося к лесу по снежной целине. Молодому было легче перескакивать завалы, зато на одном из них у Ивана соскочил валенок, и он с маху распорол себе ногу о сук, спрятанный под сугробом. Уже не больше десятка шагов разделяло их, и ходить бы профессору Вихрову век с надорванным ухом, если бы не подвернулась та спасительная, под отлогим углом наклоненная береза. Мальчик с ходу взбежал до развилины и сидел там, как в седле, обнажив зубы, страшный в своем недетском озлоблении, а Титка похаживал вниз, длинным языком лизал снег с ладошки, перстом грозился, пока во всем снаряжении не подоспел сам Кнышев.

– Слазь, волчонок, – глухо сказал большой, еле переводя дух.

– Гнилой барин! – повторил маленький, словно знал, что для Кнышева, гордившегося своим здоровьем и плебейским происхождением, нет клички обидней.

– Дерево срублю, с неба достану... слезай.

– Уходи... барин гнилой, – и дрожал весь.

Тут за дело взялся Титка:

– Покарауль его, Василь Касьяныч... сейчас мы его, зародыша, жердинкой оттеда скорынем!

Кнышев щурко смотрел на мальчонку, на его под рваным треушком сверкающие глаза, на босую, в крови, слегка посиневшую ступню. Что-то изменилось в его намерениях: вряд ли пожалел человеческого зверка в лохмотьях, но удивился, наверное, что за целое десятилетие его злодейской деятельности лишь один этот, во всей России, крестьянский паренек с кулаками вступился за русские леса.

– Ступай отсюда, дурак! – приказал Кнышев Титке. – Нет, погоди... валенок ему сперва отыщешь... – И прибавил ленивым тоном, не оставлявшим места для сомнений: – Пальцем мальчика коснешься – убью...

... С тех пор мальчик ни разу не побывал у Калины, не оттого только, что свойственно детству бессознательно чураться горя и смерти, а просто страшился взглянуть на обломки бесценной игрушки, разбитой вдребезги. Ранка затягивалась понемногу; как-то на лекции в петербургском Лесном институте пришло ему в голову, что, не замешайся сюда судьба Калины Глухова, он, наверно, и не вспомнил бы впоследствии о поверженном Облоге. Во всем мире начальный прогресс подымался по древесным ступенькам, а пока Иван Матвеич копил лесные знания, десятки таких Облогов исчезли у него на глазах, не оставив по себе – пусть вдесятеро меньшего по площади – потомства... К тому времени образ Калины даже несколько затуманился, чтобы еще много лет спустя, через первую книгу Ивана Вихрова, вознестись в богатейшее бессмертие.

## 6

Кроме Ивана, за смертью отца не обученного местным ремеслам, работников в семье не было, не перепадали сюда и кнышевские четвертаки. Как ни билась Агафья, а под вечерок мыть полы к трактирщику не шла. Близ крещения, в середине той зимы, Таиска впервые отправилась с сумой по дальним деревням, где не слыхали про Вихровых, причем не просила, сложенной корытцем руки не протягивала, а пела под окошками заученное от прохожих слепцов сказаньице, как на смоченном слезами камне мать точила ножик на деточек, чтоб избавить их от постылой, голодной доли. Много позже, к старости, в откровенную минуту сестра похвасталась однажды брату, будто один прославленный в ту пору на Енге конокрад по пьяной лавочке прослезился на ее песенку. От гордыни или же нежеланья приучать сына к легкому хлебу Агафья не пускала Ивана с сестренкой. До весны держались на Таискины куски с приправой из мякины да коры, что всегда под рукой у нищего. Тогда-то и пришел на помощь деверь Афанасий, почитавший покойного брата как отца: неженатый, угрюмый и набожный, он выглядел еще страшней Матвея, по отзывам земляков, а кротостью будто бы превосходил его вдвое. Он-то и отписал невестке, чтобы бросала вдовье пепелище и, подкинув старшенькую одинокой тетке из дальней Бахтармы, привозила бы Ивана в Питер, где открылась вакансия в соседней пекарне: жалованья не сулил, а в том состояла выгода места, чтоб неотлучно состоять при хлебе.

... В ожидании *Евпатия* все шестеро долго томились на черной, смоленой, красновершенской пристани: кроме тетки, проводить пришли Ивановы приятели, и Демидка все сманивал Ивана идти с ними любоваться на небывалый в том краю лесной пожар; горьковатая гарь свыше недели окутывала окрестность.

– Ганька, братан, из Лошкарева с керосином возвращался... так еле ускакал, – восторженно захлебываясь, рассказывал Демидка. – Огонь за ним гонится, коня под брюхо лапает, так и дерет. Идем давай, до гудка-то разов семь поспеем обернуться, а?

– В Питере у них пожары поди похлеще бывают, – возражал Летягин и по перенятой у взрослых привычке солидно поглаживал место, предназначенное для усов. – Куды ему, еще насмотрится!

Таковыми они и застыли навсегда в представлении Ивана Матвеича: он рос, учился, скитался по стране, получал ученые степени, сутулясь понемногу, а два босоногих мальчика в застиранных рубахах все спорили в сизом падымке, на тускло-зеленом красновершенском бережку.

– Ярочку-то продай, ежели нужда стукнет. Да не обижай сиротку-т, Агапьевна! – уже с борта с поклонами и сквозь гудок прокричала мать.

– И-и, Медведушка, для меня горбатенькая – божья копилка. Из одной плошки станем хлебать, – густым гусиным голосом откликалась Агапьевна, вцепясь, как в добычу, в Таискино плечо.

... От Лошкарева уже бегала чугунка, но дешевле было полдороги добираться водой, а там пересечь на прямой петербургский поезд. Вихровы поместились на обитой железом нижней палубе, среди соляных кулей и бочек с говяжьим салом. Пахло перегретым маслом, прелым тряпьем от лежавшей вповалку голытьбы, а пуще всего, начиная с двадцатой версты, удушливым хвойным дымом. Одетая в зарево лесных пожаров, Россия вступала в двадцатый век.

После небывалой двухмесячной суши синевато-призрачные, под самые облака, столбы двинулись по России, перешагивая реки. Объятое багровой мглой стояло архангельское Поморье, и Висла в своих нижних, замедленных частях текла, подернутая пеплом. Неоглядными косяками чадила сибирская тайга, великая гарь Смоленщины местами смыкалась с гарью Пошехонья, даже на крымском Чатыр-даге чадило что-то. Пылали торфяники, зароды сена, пыльные товары на пристанях... никто не знал в точности, сколько, где и отчего горит. В

газетах попадалось, будто во Владимире видели бродягу, варившего похлебку на опушке, а в Витебске — лисятника, выжигавшего лису из норы; в Саратове один тамошний барин стрелял перепелов на огонек, служивший им привадой, а близ Чернигова местный лесничий всеобщей бедою прикрывал свои грешки. И за все лето был напечатан лишь один судебный отчет о двух тамбовских мужичках, пустивших петушка в помещичью рощу в отместку за запрещение собирать мох для конопатки. Все это также служило Ивану наглядным пособием к познанию лесов российских, и, надо сказать, природа не щадила себя, повествуя мальцу о преступном людском небрежении.

Грозная по весне Енга обычно слабела к концу лета, но вряд ли когда достигала подобного ничтожества. По опустелой реке пароходишко тащился на ощупь, сквозь молоко сплошного дыма, день и ночь с сигнальными огнями и круглосуточным промером глубины. «Пять, четыре с половиной, пять...» — то и дело раздавалось на носу, и всякий раз с приближением к четверке капитан сатанинским голосом кричал в латунную трубу — убавить ходу; плиты шлепали медленней, под брюхом *Евпатия* хрустел песок. Сквозь поржелую дерновину вокруг, там и сям сизыми струйками курилась торфяная подслышка... Когда же фарватер подводил посудину к берегу, команда вперехлест окатывала из ведра пузырившийся борт и надстройки и на чем свет костерила хозяина, приказавшего им этот рейс... Впритирку поползли мимо брошенной беляны, превращенной в плавучий костер, и видели лисицу с обгорелым хвостом, переплывавшую реку. Было бы совсем нехорошо обмелеть в таком пекле, как прошлой ночью в Ногатине, где горячей лесиной с бережка стегануло насмерть одного простоволосого странника в чуйке. Еще накануне, ужасно возбужденный видом пламени, он приставал к пассажирам с разъяснениями, что белесое и курчавое перед очами ихними является не что иное, как дым, а вкрапленный в него баgreц и есть самый огонь, плоть от плоти пылания гееннского, причем грешничкам в аду еще пожарче будет! И все это с сладострастной злобой праведника на опечаливших господа людишек... Теперь замолкший знаток загробных дел ехал на корме, лежа, вполглаза поглядывая за Иваном из-под своей рогожи... Мальчику становилось жутко мертвеца; он бочком выбирался наружу и, положив подбородок на перила, безотрывно глядел на охваченное пожаром левобережье.

В сущности, лес жил прежней жизнью... вот ветерком рвануло позолоченные листья с осинника, вот испуганной стайкой вспорхнули красные дрозды, и вслед за ними огненная же белка перескочила на соседнюю запывавшую ветку. Уже тогда в глаза Ивану бросилось странное непротивление бедствию со стороны тех, кого оно касалось. Правда, в памяти уцелела наивная картинка: будто у околицы заброшенного лесного селенья, чем то похожего на Красновершье, цепочкой выстроились старухи с иконами, а ребятишки его возраста, скорей из баловства, чем ради самообороны, еловым лапником сбивают с травы наползающее пламя. Судя по наличию церковного причта, там происходит молебен, причем все голоса что-то, перекрываемое зловещим шелестом из ближнего леса, где пасется смиренный пока, словно припутанный огонь... Вот расхрабравшийся попик впереди кропит его крест-накрест свяченою водой, стараясь добрызнуть, и с таким видом — вот мы тебя, дескать, рыжего, вот мы тебя уже со богородицей!.. И, значит, какая-то капля достигает зверя, потому что в то же мгновение из глубины — с пальбой падающих стволов, с визгом извергающихся газов — вырывается слепящая бесноватая сила. Она наступает стеной, подгрызая подлесок, отражаясь в прибрежной воде... и как на всякой *стенке* в рукопашном русском бою, первыми бегут по высохшим кусткам и вереску задиралы, пострелята огня. И вот в восходящем вихре вертится обугленная птица и не может упасть. И вот длинная ель у самой воды с шелестом освобождения одевается в пурпур и присоединяется к большинству.

Дальше ничего нет. *Евпатий* заходит за мысок. Концовкой тому беспощадному зрелищу служит чье-то восхищенное замечание, произнесенное над пониклой от горести головой Ивана:

– Ой, шибко лущит... то-то брусничка сочна сыпанет в грядущее лето по злосчастным сим местам!

... Надо оговориться, все эти происшествия, размещенные на переломе двух веков, Иван Матвейч теперь различал уже с неодинаковой четкостью. Память невольно сглаживала подробности, выносила на передний план одно, приглушая другое; в ту ночь ему пришлось не раз прибегать и к искусству археолога, чтоб на черепках прошлого прочесть когда-то кровью начертанные письма.

В полдень по радио он узнал о событиях минувшей ночи.

## Глава третья

### 1

В отличие от противника, Москва встретила войну без хвастливых угроз и уличных демонстраций. Митинги на предприятиях и заводах прошли деловито и немногословно, как если бы речь шла об очередном, хотя и грознее прежних, задании истории; все понимали, однако, что теперь от выполнения его зависит нечто гораздо большее, чем только частная судьба столицы. Сквозь сожаления о незавершенной стройке звучало презрение к врагу – и к этому, ближнему, и к тому, главному и скрытному, что испугался мирного соревнования двух систем. Война была еще далека, и на протяжении целых трех недель лишь самые ничтожные изменения коснулись распорядка жизни в Благовещенском тупике.

До начала учебного года Варя знакомила подругу с Москвой. В часы, свободные от рытья щелей и занятий по воздушной самообороне, они обошли районы города по составленному Полей списку. Правда, несколько непривычно выглядели центральные площади, раскрашенные в тусклые цвета камуфляжа, и наиболее знаменитые здания с витринами, заложеными доверху мешками песка; кроме того, рядом с театральными афишами появились призывы к донорам, добровольцам ополчения, к женщинам – сменить мужей у станков, а в картинных галереях, какие еще оставались на месте, прежде всего бросались в глаза адреса ближайших бомбоубежищ. Но как никогда чудесно сияло солнце в почти невыносимой синеве, только теперь это никому не было нужно и, больше того, даже мучило напоминанием о чем-то бесконечно дорогом, утраченном надолго. А в улицах, пожаре, шли то солдаты в шинельных скатках, то отряды молодежи с лопатами на плечах, то первые партии притихших московских малышей. Они покидали столицу без обычных шалостей и песенок, однако и без слез, неестественно прямясь от тяжести рюкзаков; матери поддерживали сзади их ноши.

В сумерки все это бесследно поглощали вокзалы, и тогда по шоссе-магистральной, как раз за дендрарием Лесохозяйственного института, на всю ночь начиналось движение танков. Машины отправлялись своим ходом, волна за волной; природа содрогалась от лязга и зябла от обилия железа. В такие вечера взоры всех без исключения обращались в одну и ту же сторону: в гаснущей полоске заката всем одинаково виделось зарево надвигающейся войны.

Она добралась до Москвы лишь месяц спустя, когда на рассвете однажды черное облако, похожее на разлитую тушь, поднялось в небе Подмосковья; после первого налета горела толевая фабричка в Филях. Вскоре воздушный удар повторился, и опять внешне все по-старому оставалось на Москве, но какое-то новое, строгое, обязывающее содержание открылось в ее древних камнях. Именно в те дни созревало у москвичей сознание единства, исторического превосходства над противником и еще тот, притупляющий боль и сожаления, молчаливый гнев, из которого творится пламя подвига; страна уже нуждалась в нем. Сильные внезапно нападения германские войска к середине июля прорвались к Ярцеву, через Демидов и Духовщину, с севера обойдя Смоленск; и в прежних войнах всегда требовалось особое время всколыхнуть глубинные просторы России. Из-за этого лётная трасса на Москву сократилась втрое, и отныне каждую ночь на подступах к ней разгоралась жаркая схватка зениток с фашистской авиацией.

С наступлением темноты стаи серебряных аэростатов заполняли небо, а в шумовую мелодию города вступали властные, никогда не освоенные человеческим ухом инструменты воздушной тревоги. Они заставляли умолкнуть все, даже шелест листвы и детский плач, словно живое страшилось обнаружить себя, а улицы становились такими длинными, что казалось, никак не добежишь до их конца. Для Поли, привыкшей к енежской тишине, наступали часы



изнурительного ожидания чего-то худшего, чем даже прямое попадание. Чуть вечер, в особенности при ясном небе, ею овладевал приступ более тяжкого заболевания, чем любое из перенесенных ею в детстве; оно состояло в неотвязном чувстве воздуха; речь становилась неточной, все валилось из рук. Она ни на что не жаловалась пока, и Варя по своему почину решила предложить ей единственное лекарство от этого одуряющего страха.

Разговор произошел однажды после Варина возвращения с дежурства на крыше. Ранняя в тот вечер атака вражеской авиации была сразу отбита и не повторилась, потому что небо затянулось тучами. Поля находилась уже дома и суежилась по хозяйству, чтобы хоть как-нибудь оправдать свое пребывание в этом городе в такое время. Через полчаса зашла и Наталья Сергеевна, которую Варя мимоходом пригласила пить чай.

– Теперь уж не полетят, я уложила внучку спать, – сказала она с единственным намерением успокоить бледную, растерянную Полю. – Кажется, дождик начался... вы не вымокли... Варя?

– Нет, пустяки... только вот зацепилась рукавом за гвоздь на чердаке. Ты зря не поднялась посмотреть на это волшебное зрелище, Поля: на летний дождик над Москвой. – Она кивком поблагодарила Полю за иглу с ниткой, немедленно оказавшиеся перед ней. – Ужасно люблю глядеть на мокрые московские крыши, когда они светятся во всю широту горизонта!

– А ты уверена, что... это хороший дождик будет? – спросила Поля, и, пожалуй, не столько спасительный дождик ее интересовал – долго ли он продлится, сколько проверить хотелось по интонации ответа, не испытывает ли Варя холодка или презрения к ней за постоянное сиденье в бомбоубежище. – Я тоже очень любила дождик... на Енге, но, конечно, здесь это вдвойне красивей... и, главное, нужней.

– Не в красоте дело... и как раз московские крыши не очень привлекательны: заплаты, поржавевшие желоба. Вообще, сверху виднее, что все эти годы страна заботилась о чем-то более важном, чем ее жилища... Кстати, тебе стоит подумать, как будущему архитектору, почему мы украшаем города лишь с фасада, хотя по существу давно переселились с плоскости в три измерения. Зато сверху Москва такая понятная, теплая, простая. Рождается желание вложить в нее и свою силу, пусть маленькую... но ведь чем меньше я, тем больше нас, таких, правда? – Варя выдержала паузу, чтобы до Поли дошла ее спрятанная мысль. – И пока ждала самолетов... которые, кстати, так и не прилетели, мне пришло в голову... кто полностью не разделит с народом его горя, непременно будет чувствовать себя отверженным и на празднике его радости.

– Вы всегда такая строгая, товарищ Чернецова, что я сама порой как бы за партой чувствую себя в вашем присутствии, – вставила Наталья Сергеевна, сжалась над Полей. – Все придет само собой. Оставьте девочку в покое.

– Я только хотела спросить ее... я хочу спросить тебя, Поля: нет у тебя потребности подняться со мной туда... завтра? Ты можешь заложить вату в уши, если звука боишься.

– Нет еще... не теперь! – И с таким неподдельным ужасом затрясла головой, что все рассмеялись.

– Ну, я вижу, фельдмаршала из тебя не получится, – без порицания или насмешки шутила Варя. – Ты думаешь, что я меньше тебя боюсь смерти?

– О нет! Совсем не то...

– Так что же именно?

– Я не знаю пока.

– Тогда, может быть, тебе лучше вернуться на Енгу? А когда все кончится...

– Как тебе не стыдно, Варька! Я и сама себя порицаю, как последнего человека в стране, но не могу, пойми, не могу пока... – и заплакала от обиды. – Я просто не понимаю...

– Что ж тут понимать, Поленька? Это война.

– Нет, я другого не понимаю: ведь я еще никакого зла им не причинила... за что же они непременно хотят убить меня?

Вопрос был поставлен в такой откровенной наготе, что у Вари, хотя положение будущей народной учительницы и обязывало ее к универсальному знанию, не нашлось на него ответа.

... Итак, все осталось по-прежнему. Как и раньше, по сигналу тревоги Варя вместе с прочими дружинниками воздушной обороны, вооруженная длинными адскими щипцами и в рукавицах, поднималась на крышу, а Поля торопливо сбегала в подвал, где горел настоящий, незатемненный свет и по углам, такие успокоительно-прохладные, стояли ящики с песком. Там было глухо, чуть сыровато, совсем хорошо, как в земле, только первое время, за отсутствием других каменных строений в их тупике, уйма народу набивалась сюда со всей улицы. Большинство состояло из людей пожилых да еще матерей с детьми, по разным причинам задержавшихся в столице. Все молчали, потом в тишину, насыщенную деловитым посапыванием спящих ребят, просачивались булькающие разрывы фугасок. Поля закрывала глаза, и ею овладевало знакомое томление детской поры, когда при засыпании в потемках казалось, будто великан в холодной и гадкой лягушечьей коже шарит вокруг, бормоча что-то, и притворяется, что не может найти, отчего вдвое страшнее. Она прижималась к стене, и все остальные желания вытеснялись одним – стать незаметней горошинки, закатиться в норку, если не уничтожиться совсем.

По мере того как свыкалась с военным бытом, к Поле возвращались речь и зрение. Так она распознала Наталью Сергеевну в санитарке, дремавшей у выхода, а попозже различила сухощавого, надменно-профессорской внешности старика с непокрытой головой и с добротным пледом на коленях, рисунком внутрь, чтобы, видимо, не слишком отличаться от прочих жителей Благовещенского тупика. Всю тревогу профессор просиживал в одном и том же углу, под лампой, с книжкой в руке, изредка делая пометки на полях, но, судя по тому, сколько у него уходило на каждую строку и как часто возвращался к прочитанным страницам, ему также не особенно удавалось отвлечься от действительности за железной дверью убежища. Полю сразу потянуло к нему: он представлялся единственным здесь, кто мог помочь ей в разрешении некоторых житейских недоумений.

Оказавшись рядом однажды, она не преминула задать ему эти вопросы, в порядке возрастающей важности. Так, например, ее уже давно одолевало сомнение, допустимо ли самовольное уширение земляной щели на двадцать сантиметров, что из-за осыпи грунта непроизвольно получалось у ней всякий раз при рытье противовоздушных окопчиков во дворе... и, кроме того, нужно ли на время тревоги завертывать пищевые продукты в целлофан, как того требовала инструкция по самообороне. Сосед указал ей со снисходительной улыбкой, что на данном этапе военных действий целлофаном можно пока пренебречь, зато любое отступление от инженерных расчетов крайне нежелательно.

Поля горячо поблагодарила его за обстоятельность ответа, ценного не столько по глубине содержащихся в нем сведений, сколько тем, что общение с бывалым человеком избавляло ее от нестерпимых мук одиночества.

– Я потому решила вас беспокоить, – благодарно призналась она, – что нигде не могу достать этот проклятый целлофан!

– Временно у вас имеются все основания, э... не затруднять себя поисками, – размеренно успокоил сосед и, коснувшись ее трепетной руки, прибавил что-то о своей постоянной готовности пойти навстречу, как он выразился, с видимым удовольствием выговаривая слова, нашей пытливой и чуткой молодежи; затем, вскинув очки, он продолжал мужественно преодолевать очередную страничку.

Все еще длился воздушный поединок в Подмоскowie, и, хотя разрывы не слышны были на этот раз, по-прежнему висела над городом вынужденная тишина. Даже странно было представить, что где-то грохочут ужасные танковые битвы и во весь разлив полыхают необжитые

колхозные новоселья, а вчерашние счетоводы, лекальщики, кандидаты наук ползут на огневой рубеж в дымящихся гимнастерках, и Родион в том числе!.. Но еще труднее было допустить, что дотла выгорит вся, таким подвигом добытая советская новь на запад от московского меридиана, а сталь броневых машин не однажды обернется через мартены, а люди проползут по многу тысяч километров, так что сотлеют от пота их рубахи, и станут солдатами нынешние подростки, прежде чем закончится *это*.

В такие вечера Поля имела возможность наблюдать животный ужас собак, при первом же вое сирены забивавшихся под скамейки убежища, и краска заливала ей щеки при мысли, что станет с нею самой, если война затянется еще на месяц... В другой раз, оказавшись рядом с тем же человеком, Поля жарким сбивчивым шепотом заговорила о низости капиталистических владык, извлекающих барыш из человеческого страдания. В детском воображении своем она любила иногда побродить по предместьям коммунизма, и тем горше было возвращаться оттуда на тот химерический Дантов круг, где все терзает все – без радости, утешения и смысла. Возможной длительности этого ада и касался третий, главный Полин вопрос.

– Простите, я недослышал... – сказал ее ученый сосед, извлекая из уха клочок ваты, с помощью которой иные в ту пору защищались от чрезмерных впечатлений бытия.

– Мне очень неловко отрывать вас от занятий, но... я спросить хотела: сколько же продлится этот *ужас*... полтора, три месяца? Неужели больше, чем полгода?

Прежде чем удовлетворить любознательность сидевшей с ним плечом к плечу скромной и почтительной девочки, профессор долго изучал длинный ноготь на мизинце.

– Ваш вопрос застает меня врасплох, дорогое дитя, – рассудительно начал он, играя карандашиком в пальцах. – Для нас, стариков, наиболее трудные вопросы как раз те, какие задаются розовой, неискушенной юностью. К сожалению, я не смогу представить вам ничего, кроме общих размышлений вслух, которые, э... вы вправе и отвергнуть, если в них слишком уж отразится мой личный опыт, копилка печальных знаний престарелого, вполнину изношенного человека. Возможно, иные из них, э... покажутся вам далекими от нашей сверкающей действительности, – алогичными, даже в какой-то мере обывательскими и, пожалуй, с предосудительным налетом пессимизма, но всякое суждение неминуемо является источником противоречий и, кроме того, носит отпечаток места, где оно высказано. В данном случае мы сидим с вами в малокомфортабельной пещере с томительным ожиданием минуты, когда на нас с вами рухнут, э... не будем прятаться от фактов: восемь этажей, не считая крыши и чердачных перекрытий. В подобной ситуации редко навещают возвышенные мысли. Это потом приходит величавый летописец и в десяток каллиграфических строк укладывает годы лишений, несчитанные километры зарева и тысячи одновременных гангренов, а пока... Я выражаюсь несколько пунктирно, но... вы следите за ходом моей мысли?

– Я... я стараюсь, – откликнулась Поля, робея перед столь обстоятельным вступлением.

– Начнем с того, милое дитя, – веско и каким-то до крайности жирным голосом продолжал Полин собеседник, – что война доныне применялась для установления господства над слабейшим и подчинения его воле победителя. Естественно, достигнутые таким способом успехи нельзя считать прочными, как и все то, что достигается применением угрозы или насилия. Никакие параграфы мирных договоров не обязательны для внуков, если только, э... операция не сопровождалась поголовным истреблением побежденных. Примером тому служат немедленно, после смерти создателя, распадавшиеся империи Дария и Ксеркса, Александра и Саргона, Тимура и Наполеона... а уж тем более этого заносчивого ефрейтора Шикльгрубера. Последующим поколениям всегда стеснительна одежда предков: обычно они ее, э... перешивают! Раз согнутая пластинка распрямляется с захватом не принадлежащего ей пространства... и таким образом война родит войну, и потому, надо признать, некоторые не без основания рассматривают пройденный путь человечества как сплошное, скажем мягко, рукопашное препирательство... иногда с довольно значительными промежутками покоя, необходимого в целях

накопления жиров и средств для будущего столкновения. Поэтому разумнее было бы говорить о длительности не войны, а самых передышек. Какая у вас отметка по этой, как ее... политграмоте?

– Четыре... – правильно поняла Поля его вопрос, понемножку начиная уставать от скользкой и неточной речи, которой лишь немногочисленность аудитории мешала превратиться в развернутую лекцию.

– О, этого вполне достаточно для понимания механики капиталистического существования. И здесь я вынужден огорчить вас, мое дитя! Боюсь, что по мере роста промышленных возможностей и соответственного усложнения отношений такие паузы будут все более сокращаться, пока человечество не образумится... или не превратится в газовую туманность местного значения, когда его разрушительный потенциал подавит окончательно потенциал созидательный. «Здесь жили несколько неосторожные и вспыльчивые боги», – скажет про нашу планету какой-нибудь доцент астрономии с соседней звездной системы. Я прошу вас учесть в особенности, что э... великие изобретения бывают рассеяны в воздухе эпохи и абсорбируются противниками почти одновременно. Словом, мне неотвратимо приходит в голову образ колеблющейся пластины, зажатой в тисках, э... так сказать, исторической необходимости. Дело решалось бы просто уравнением, где элементами служат длина помянутой пластины, упругость материала, сопротивление среды и первоначально заданная сила, но, к сожалению, рассматриваемый процесс несколько сложнее. Видите ли, милая девочка, факты истории строятся на гораздо большем количестве координат, чем это доступно человеческому разуму... и вывод историка целиком зависит от того, какие – из ему известных на данном отрезке времени!.. какие именно ему благоугодно принять за главные. У всякой эпохи рождаются самостоятельные взгляды на причины исторических событий, так что в будущем, я допускаю, э... возможны самые захватывающие открытия, скажем, даже о Пелопоннесской войне! Разумеется, легче всего было бы ответить, что длительность войны определяется соотношением резервов, качества вооружения, экономической мощью соперников... или что при внешнем равенстве сил решающее влияние окажут образованность полководцев, ярость армии, духовное оснащение народа... но боюсь, не входят ли в это уравнение еще какие-то числа, для познания которых мы не располагаем пока достаточным инструментом, если ничто, ничто, повторяю я, не смогло предотвратить гибель выдающихся цивилизаций прошлого. Дайте же мне эти массы и числа в полном объеме, и я, подобно Лапласу, возьмусь предсказать любое их положение через любой отрезок времени. Но вы молчите, мой юный товарищ, и вот я затрудняюсь вам ответить, сколько же времени может продлиться этот научно организованный, кровопролитный беспорядок, в просторечии называемый войной!

Полю начинало клонить в сон, но и сквозь дрему все ее существо бессознательно противилось этой глубокомысленной путанице, где, несмотря на внешнее благополучие, временами явственно вскипал газированный ядок сомнения. Она не могла не согласиться, что, конечно, все на свете совсем не окончательно, потому что ежесекундно обновляется река жизни, но, с непривычки к дискуссиям и без помощи Родиона, не умела возразить на то неуловимое недоброе, что крылось в ускользающих профессорских намеках.

– Значит, вы думаете, война еще долго протянется? – вздохнула Поля.

– Во всяком случае, у нас с вами будет достаточно времени для многих таких, э... невольных бесед. – В этом месте он пристально поглядел на Наталью Сергеевну, с безучастным видом наклонившуюся в их сторону, и уже не для Поли прибавил как бы с оттенком зависти, что у юных все впереди, так что еще успеют побывать в блистающих предгорьях Коммунизма. Ему оставалось закрепить состоявшееся знакомство: – Кстати, я не расслышал, как ваша фамилия?

– Зовите меня просто Полей... – и доверчиво подняла глаза. – А вас?

Таким образом и он был поставлен в приятную необходимость назвать себя. Его звали Александр Яковлевич, фамилия его была Грацианский. Следовало считать особой удачей, что

судьба без промедления свела Полю с крупнейшим знатоком леса, главным судьей ее отца, способным пролить свет на историю сомнительной вихровской известности...

К счастью, что-то отвлекло в сторону внимание Грацианского, и Поля имела время оправиться от молниеносного потрясения.

## 2

В ближайший вечер она в подробностях рассмотрела своего нового знакомого с пледом на коленях. Как и в прошлый раз, он сидел в профиль к ней, но в этом заключалось и некоторое преимущество: не мешали очки, не заслоняла книжка, служившая ему как бы ширмой от посторонних наблюдателей. У него было продолговатое, аскетической худобы, овечное непримиримым величием и не без оттенка надменной гордости, лицо с матовым цветом кожи и с небрежной, чуть седую тронутой бородкой; как бы ветерком вдохновенно вздыбленные волосы его были умеренно длинны, и слегка мерцающие тени лежали во впадинах под высоким лбом. Все это придавало ему образцово-показательную внешность стойкого борца за нечто в высшей степени благородное, что, в свою очередь, вызывало самые глубокие к нему симпатии. И при одних поворотах он напоминал некоего православного миссионера с Курильских островов, запомнившегося Поле по картинке из *Нивы*, а при других – даже пророка древности, приговоренного к мученическому костру... если бы не странное, к прискорбию, устройство глаз у Александра Яковлевича Грацианского. Время от времени там, в глубине, под бесстрастно опущенными веками начиналась быстрая, на тик похожая беготня зрачков, мало подходящая для проповедника не только слова божия, но и менее возвышенных истин. Какое-то неотвязное воспоминание преследовало этого человека, так что каждую четверть часа требовалось ему удостовериться в отсутствии поводов для беспокойства. Наверно, река жизни основательно потрепала его на порогах, прежде чем вынесла в устье заслуженного общественного признания, и Поля, приученная уважать поколения отцов, правильно восприняла указанные странности как след какого-то потрясения, испытанного в годы революционного подполья.

Через минуту такое толкование показалось ей книжным, проще было искать объяснение в самой обстановке той ночи. Полю тоже давили и эта насыщенная бедствием тишина, и виноватое сознание своего дезертирского сидения в подвале, в то время как другие стоят на крыше или во весь рост идут в атаку – Родион в том числе! – и, наконец, вся эта содрогающаяся, восьмизатяжная толща камня, в особенности напоминавшая о своем весе именно здесь, в низком сводчатом подземелье. Детям свойственно понимать поведение старших в пределах своего собственного опыта.

Вдруг Поля почувствовала, что Грацианский боковым зрением заметил ее напряженное внимание; он еще держал томик перед собой, но глядел поверх страницы.

– Довольно легкомысленно приходить сюда в легкой блузке. Дом новый, штукатурка еще не просохла, – сказал он, освобождаясь от очков. – Хотите мой плед?

– Ничего, я крепкая... с ребятами в глухую осень реку наперегонки переплывала!

– Похвально... как раз безумства юности служат нам порой тренировкой для героических свершений в зрелом возрасте, – и вдруг с неожиданной в его годы резвостью повернулся к Поле лицом: – Ну, признавайтесь теперь, откуда вы знаете меня?

Ей удалось схитрить; она ненавидела ложь, но теперь пустилась бы и не на такое, лишь бы выпытать правду об отце.

– О, я читала ваши сочинения об этом... как его? ну, об ученом, который собирается запереть на замок от народа русский лес.

То была подлинная цитата из его собственной статьи, только там гораздо злее намекалось на еще существующих, якобы весьма живучих старушек, которые с семнадцатого года хранят в сундучках манную крупу и сахарок на предмет некоторых чрезвычайных и, надо надеяться, не продолжительных политических событий, после чего все должно воротиться в колею, так сказать, *нормальной* жизни.

– О, вы имеете в виду мою старинную полемику с Вихровым... – польщенно улыбнулся он. – Каким же образом вам попались на глаза эти мои... торопливые рукоделья?

Она правдиво рассказала, что познакомилась с ними у матери, в лесничестве, где, по многолетней традиции, выписываются все специальные издания.

– Библиотечка там маленькая, все до корки перечитала. Но вот уж сколько живу на свете, а и в голову не приходило никогда, что в такой тишайшей области, как лес, могут твориться такие *громкие* происшествия.

– Простите... это в каком лесничестве... живет ваша мать? – в упор и быстро спросил он.

Встречная предосторожность заставила Полю назвать соседнее, – по ту сторону реки Горянки:

– Сватковское, на Енге... Глушь и тоска ужасная!

– Напротив, отличные места. В годы молодости я бывал в ваших краях, только в лесничестве Пашутинском... как раз в гостях у этого самого Вихрова, – с приятностью вспомнил Грацианский, взглянув куда-то наискось и поверх Поли. – И, скажите, какую же оценку получили мои сочинения в вашей милой, пытливой головке?

– Я бы так определила, что это... очень сильные статьи. Только одного не могла понять: откуда ж и у нас берутся *такие* люди, да еще в наше время, когда весь народ безраздельно отдает себя созидательному труду, – прочла она словно из газетной передовой. – Едят советский хлеб, а сами...

Грацианский крайне сочувственно принял ее безыскусственную вспышку.

– Видите ли, светлая девочка, мы живем в чудесную эпоху сдвигов и преобразований, когда классовая борьба принимает порой самые причудливые формы, э... пока не выливается наконец в открытую схватку двух сторон. Нельзя забывать, что, лишённые прямой возможности наносить ущерб, к тому же и бессмысленный при нашем гигантском творческом напоре, враги пускаются порой на ювелирные хитрости, среди которых не последнее место занимают так называемые невинные заблуждения, обычно выдаваемые за оттенки научной мысли. И у этого Вихрова поразительная склонность к так называемому самостоятельному мышлению. А чем крупней размах народной деятельности, тем чреватей начальное отклонение в идеях даже на полградуса... не правда ли, мой друг?

Последняя надежда на оправдание отца рушилась от этого приговора, высказанного с печалью запоздалого сожаления, и Поля напрасно цеплялась за что придется при падении.

– Вы полагаете... – кусая губы, начала Поля, но дыхание оборвалось у ней, и заговорила снова, и так повторялось до трех раз. – Вы полагаете, что Вихров сеет свои вредные идейки... не совсем проста?

Только полгода спустя, при сопоставлении некоторых обстоятельств, вспомнилось ей, что в этом месте Наталья Сергеевна приоткрыла глаза, пристально взглянула на Грацианского и снова предалась своей дремоте.

– Я понял, на что вы намекаете, но нет... не допускаю, – с неуверенно-кислым видом протянул Полин собеседник. – Сопротивление людей *этого* класса давно сломлено... я бы сказал, оно погребено в бетоне социалистической стройки. Конечно, в плохих романах еще попадаются загадочные фигуры с потайными фонарями, хранящие в зубной пломбе похищенную схему городской канализации, без чего в наше время трудно бывает провернуть громоздкий и дидактический сюжет, но... судя по критическим обзорам, это и в литературе становится запрещенным приемом. Кроме того, лес не является оборонным объектом, туда ходят даже без пропуска!.. Нет, тут действуют другие, ржавые пружинки отжившего общества... скажем, застарелая обида бездарности, уязвленное самолюбие неудачника, а иногда и поганая надежка заработать *налево* полтинник, недополученный от советской власти... – Он выдержал краткую и естественную паузу гражданского негодования. – Конечно, Вихров – иное дело, я даже не могу отказать ему в известном даровании, к несчастью, мы всегда пренебрегаем тонким психологическим анализом в наших слишком обобщенных суждениях!.. Оттого-то и неизвестно в конце концов, когда и где, при самой стерильной анкете, тот или иной подобного рода

деятель хлебнул глоток мертвой воды, который всю жизнь потом рвет ему внутренности. Признаться, мне еще не приходил в голову ваш вариант, но... нет, не допускаю! – еще категоричней повторил он, машинально захлопнув книжку, куда по рассеянности заглянула было Поля. – У Вихрова его научные выверты – скорее проявление болезни, чем сознательно направленной воли.

Он произнес это с такой искренностью, что Поля устыдилась своей недавней неприязни к собеседнику, даже прямой вражды, порожденной, кстати, обостренным и зачастую безошибочным чутьем юности.

– Как вы хорошо говорите, продолжайте! – умоляющим шепотом попросила она.

– Я знаю Вихрова со студенческих лет, – продолжал Грацианский, увлекаясь воспоминанием, – и в моих глазах это всегда был совсем не плохой товарищ, несколько одержимый, возможно даже зараженный манией преследования... я бы сказал, лесного преследования, но безусловно честный человек. И вовсе не потому я беру его под защиту, что когда-то мы совместно хлебали фасольную похлебку в одной нишей кухмистерской на Караванной и подвергались гонениям от царского режима! Больше того, я уважал бы его за настойчивость, с какой он стремился протащить свои теориейки в народнохозяйственную практику, если бы, э... они не противоречили кое-каким интересам социалистического прогресса. Именно теориейки! Взгляните на карту сибирских лесов, и вы поймете, что при любых годовых нормах рубки никакая опасность истощения не грозит этому буквально неисчерпаемому зеленому океану.

Поля просительно коснулась его рукава:

– Скажите... а вы не пытались убедить его... не с помощью брани, нет, а с глазу на глаз, как друг, как большой человек? Может быть, вам удалось бы повернуть его на наши рельсы, если, конечно, этот Вихров стоит усилий такого человека, как вы!

Грацианский с безнадежным видом качнул головой.

– У него первоклассные знания и все еще ясный ум, а... лишь в молодом возрасте случаются такие озаренья. Вспомните, сколько лет было Савлу на пути в Дамаск или Белинскому, отрекающемуся от гегельянского примиренчества... но кто, кто поверит в раскаяние семидесятилетнего Галилея? И все же я отвергаю ваши законные подозрения в злом умысле, хотя временами и сам склонен предположить нечто близкое к этому... но совсем другое. Видите ли, девочка моя, люди в нужде всегда особо чувствительны и внимательны к проявленной к ним ласке.

– Это какую же ласку? – тихонько спросила Поля.

– Всякую, – значительно обронил Грацианский. – В биографии Вихрова имеются кое-какие моменты, заслуживающие внимания... не следователя, нет, но именно социального психолога. – И с той же неприятной для Поли туманностью во взоре намекнул, что не сомневается в необходимости такой должности в завтрашнем обществе – для исследования различных обстоятельств, неуловимых сводками государственной статистики, «если, конечно, целью последней является не только подтверждение кабинетных истин, а и открытие новых, обогащающих человеческое знание».

И оттого, что длительное сидение в бомбоубежище располагает к особой, хоть и временной, близости, Грацианский деликатно приоткрыл Поле чужую тайну. Так, со смешанным чувством боли и отвращения она узнала от собеседника, что все три года их совместного пребывания в Лесном институте Вихров получал, «как бы это поточнее назвать... нет, не стипендию, но регулярное ежемесячное пособие в двадцать пять целковых от неизвестного частного лица». Сопроводительные почтовые уведомления бывали подписаны явно вымышленной фамилией, и вряд ли в ту пору крайнего обнищания рабочего класса мог под ней скрываться, скажем, токарь Путиловского завода, этакий заочный любитель и покровитель лесов. Переводами этими Вихров пользовался вплоть до своего ареста, но есть основания полагать, что и по возвращении из двухлетней административной высылки помощь эта продолжалась до самой



дипломной работы, к слову, защищенной им по первому разряду. К чести Вихрова, он всегда делился этими случайными деньгами с беднейшими из приятелей, а впоследствии значительную часть суммы отсылал их общему другу, Валерию Крайнову, отбывавшему срок своей ссылки где то за Енисеем. Таким образом, получения этих денег Вихров не скрывал, однако на расспросы товарищей отзывался незнанием.

– Словом, пройдя тяжелую школу жизни, лично я в филантропическое бескорыстие как-то не слишком верю, – заключил Грацианский, – и, надо думать, вихровский благодетель, несомненно – дальнего прицела человек, рассчитывал на его позднейшую признательность, э... в будущем!

Возникало естественное недоумение, как Вихров мог принимать деньги столь загадочного происхождения, но, по мнению Грацианского, от голодного, оборванного человека и нельзя было требовать особой щепетильности, тем более что получение их не сопровождалось никакими встречными обязательствами: «В пустыне некогда разбираться, чью и какую воду пьешь, если она способна утолять жажду».

– Понимаю... вот он, глоток мертвой воды! – с похолодевшим сердцем повторила Поля. – Скажите, а что представлял собою этот ваш... Крайнов?

– О, это был исключительный товарищ, наш общий друг, тоже студент... только старшего курса, уже в те годы перешедший на положение профессионального революционера. Все трое... Чередилов, Вихров и я, мы многим обязаны ему в отношении тогдашнего политического образования. Собственно, он-то меня и в революцию втянул... – И тут выяснилось, между прочим, что это был тот самый известный Крайнов, сряду два десятка лет проводивший на посту советского дипломата, что, в свою очередь, указывало на незаурядность его ума, такта и партийной репутации.

– Но ведь, принимая помощь от товарища, Крайнов не мог не знать имущественного состояния Вихрова... – выбредая на свет из потемок, сообразила Поля. – Значит, он знал, что это *чистые* деньги, если не отказывался от них!

Грацианский одобительно усмехнулся.

– Вы могли бы с успехом работать в уголовном розыске, – похвалил он Полину проницательность. – Все это так, если бы сюда не примешивалась одна... нет, не отягчающая, но, нельзя не согласиться, несколько темная подробность. Помнится, на прощальной пирушке по окончании института завязался разговор о некоторых непонятных явлениях из области этой самой социальной психологии... и Вихров сам, без принуждения, рассказал про двадцать пять рублей, выданные ему в пьяном виде одним крупным лесопромышленником, гремевшим тогда на всю Россию. Нет, в том-то и дело, что пьян был именно купец, а не Вихров, хотя лично я предпочел бы обратное. А возникшие при этом отношения могли продолжаться и дальше, не правда ли?.. Надо сказать, дело шло к рассвету, все мы были крепко на взводе, да еще этот оглушительный Чередилов, Большая Кострома по прозвищу, на гитаре брэнчал... так что я и не уловил в чаду, в каком именно качестве Вихров попал на оргию петербургского миллионера, а главное, зачем было Вихрову выбалтывать такого рода секретцы.

– И вы тоже в тот раз... на взводе были? – впервые таким стеклянным, хрупким голосом встала Поля.

Оказалось, алкогольные излишества с юности были запрещены Грацианскому по шаткости здоровья, в доказательство чего он и привел самую болезнь, из названия которой, прозвучавшего красиво и загадочно, можно было заключить, что она дается лишь избранным за чрезмерное напряжение интеллектуальных сил. Поле очень хотелось сказать, что вот-де как хорошо тем, кто мало пьет, а все сидит себе в сторонке да на ус наматывает... и она непременно высказала бы это, если бы в ту же минуту не произошли два, один за другим, где-то поблизости оглушительных разрыва. Свет замигал, дрогнули стены, заплакали проснувшиеся дети. Наталья Сергеевна метнулась к выходу: бомбы упали в Благовещенском тупичке, и кому-

то могла понадобиться ее медицинская помощь... В тот вечер из-за раздумий о своем отце Поля почти не заметила бомбежки и теперь на примере Грацианского сама могла наблюдать, как выглядит человек, полуразбитый параличом страха.

Больше разговор не возобновлялся, а вскоре затем по радио был объявлен отбой воздушной тревоги.

### 3

Шатаясь, Поля поднялась на свой этаж; всегда после бомбоубежища ноги становились ватные, и почему-то ныла спина. Впервые к возвращению Вари с крыши не оказалось горячего чая на столе. Свою подружку Варя застала у раскрытой балконной двери; в потемках прикинув виском к косяку, Поля глядела на силуэтные нагромождения затемненного города. Она не отозвалась на Варин оклик, и не сразу удалось отвлечь ее от манящей отвесной глубины. Спустив синюю бумажную шторку, они сели за стол; Полина кружка стыла нетронутая. На все вопросы Поля отвечала невпопад или – такой заискивающей, неискусно подделанной улыбкой, что и ничем не возмутимую Варю охватило предчувствие беды.

– Ты заболела?

– Нет-нет, ничего... спасибо.

– Но... что именно случилось?

Поля сидела, как оглохшая, – безучастная, и немая. Тогда, насильно напоив малиной, Варя уложила ее в постель и так же молча гладила ее холодные ладони.

– Лучше не трогай меня, не поганься, – отстранилась Поля, до горла натянула одеяло, вытянула вдоль тела спрятанные руки. – Нельзя!

– Но почему?

– На мне лежит страшная тайна.

Варя сделала добросовестную попытку удержаться от смеха.

– О, это звучит серьезно! Хорошо еще, что я знаю все твои секреты. Кайся, окаянная: ты съела пирожное от меня украдкой... так?

И опять дрожавшая в ознобе Поля не посмела поднять на нее глаза.

– Ты не прогонишь меня? – Она тотчас поправилась, чтоб не обидеть Варю. – И вообще, как ты думаешь... *все они* меня не прогонят?

– Кто тебя погонит, откуда?

– Ну, вообще... из народа моего, из страны.

– Мне не нравятся твои мысли, Поля. Как можно допустить, что кто-то лишит родины молодую советскую девушку... – Вдруг она истолковала Полин вопрос в свете своих неотвязных тревог. – Или ты думаешь, что мы будем разбиты? Да ты отдаешь себе отчет, чем мы сильны и сколько нас... сколько у нас этого, главного, чем побеждают, и сколько мы можем еще произвести, если потребуется? Ты пойми, пришлось бы каждого убить в отдельности, чтоб истребить в нас накопленное за эти годы. И народ никому тебя не отдаст: ты как зернышко у него в ладони. Ну, ложись и спи!

Только эти последние слова и достигли Полиного сознания. Она приподнялась и, точно прорвалось, лихорадочно заторопилась, куда-то мимо глядя красными, набухшими глазами.

– Но что бы ни случилось дальше, ты меня не бойся, Варя, не бойся... я не кину на тебя тень, не подведу. Позволь, что же еще я хотела тебе сказать? Вот ниточку потеряла... – Она пошарила глазами вокруг себя. – Да, вспомнила... не бойся: я тогда заранее уйду, *сама*, найду себе место... и даже маме не пожалуюсь. Я уверена, она тоже ни в чем, ни капельки не виновата. Впрочем, нет, я все вру, Варенька... я никуда отсюда не уйду... потому что я заслужу прощение всей жизнью моей! – и по лицу ее покатались обильные облегчительные слезы. – Знаешь, я буду делать самое трудное... уж когда все откажутся, а я пойду и сделаю. Я за нас обоих отработаю... как ты думаешь, хватит у меня сил на двоих, а?

Она отца своего имела в виду. Варя не поняла, нахмурилась:

– Это истерика, перестань, не люблю. Говори начистоту... что-нибудь с Родионом? – Затем последовали сухие, отрывистые приказанья: – Перестань же, я сказала! Ты получила письмо *оттуда*, с фронта, я видала давеча на столе. Немедленно дай сюда...

Воспаленное состояние Поля, а главное, ее сбивчивая, двусмысленная речь – все подсказывало самые худшие догадки, много страшнее, чем даже Родионов плен или его смертельное ранение.

– Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, протянула из-под подушки смятый, зачитанный треугольник.

Впоследствии Варя очень стыдилась своих начальных предположений, но... редкие транзитные эшелоны не задерживаются в Москве, а вокзалы находились поблизости, а Родиону был известен Полин адрес. Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок... тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?.. Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну: Варя нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полужаженные строки.

Варя сразу наткнулась на главное место.

«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал все это время, – негде было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. – Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем еще оправился: хуже любой контузии моя болезнь. Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. Сожги это письмо, тебе одной на всем свете могу я рассказать про это. – Варя перевернула страничку. – Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила при отступлении. Я шел последним в роте... а может, и во всей армии последним. Нам на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребенок, видимо на школьной скамье приученная любить Красную Армию... Конечно, она не очень разбиралась в стратегической обстановке. Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, они достались мне. У нее были такие пытливые, вопросительные глаза: на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть... но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус... матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я не трус. Зажмурился, а принял его, у ней, покидаемой на милость врага... С тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моем, словно огонь за пазухой ношу, велю его в могилу положить на себя, если случится. Я-то думал, семь раз кровью обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как она происходит, всухую, купель-то зрелости! – Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – И не знаю, Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить...»

– Да, он очень вырос, твой Родион, ты права... – складывая письмо, взволнованно сказала Варя, потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-либо предосудительный поступок.

И опять на дальнейший поток вопросов Поля отрицательно, с закушенными губами трясла головой. Тогда Варя накрепко заперла балконную дверь, так как холодало к рассвету, и всю остальную ночь не сомкнула глаз, по шорохам следя за всяким Полиным движением. Утро не принесло ясности. Двукратная Варина попытка расспросить Наталью Сергеевну, что именно произошло в бомбоубежище, не удалась; оба раза Варе показалось, что дама трепф избегает ее. Среди дня Поля пропала, и бросившаяся на поиски Варя нашла ее лишь к вечеру во дворе соседнего домовладения; та копала землю на постройке чужого укрытия. Никто не звал ее туда, а просто она увидела людей за работой и сама взялась за попавшуюся на глаза лопату.

– Вот... иду мимо, заглянула, увидела знакомое платье. А ты чего тут, поразмяться вышла? – искусно, без тени тревоги спросила Варя. – Ты уже пообедала?

– Я из вчерашнего поела... скучно стало сидеть одной, – тоже незначащим тоном отвечала Поля. – Я скоро приду, ты ступай.

Она вернулась в сумерках, когда стало накрапывать, с опущенными глазами, почерневшая, точно подгоревшая изнутри. За чаем читали вслух сводку Информбюро, и Варя, как всегда, разделяла паузами боевые эпизоды, чтобы яснее представить, как *это* выглядело наяву. Не были в сводке упомянуты ни населенные пункты, ни другие ориентиры приближающейся войны; о недосказанном следовало догадываться по тому, как при чтении сжималось сердце... Поля сидела с видом не очень желанной гостьи и, время от времени удостоверясь в чем-то, зажатом у ней в кулаке под столом, снова обращала рассеянный взгляд к проему балконной двери. Оттого ли, что вследствие затемнения все отвлекающее было удалено из поля зрения, орнаментальные подробности зданий и вечерние огни, казалось – там умещался гораздо больший кусок московской панорамы, чем обычно, и глаз легко схватывал архитектурное единство столицы. Было в ее ночном профиле что-то от громадного, на развороте, боевого корабля, покидающего гавань для долгого и грозного плавания; впечатление усиливали блески мокрой палубы на площадях и стальные конструкции новостроек.

Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки автомашин. Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на центральной площади выставка трофейных самолетов, незасыпанная воронка на улице Веселых, как они уже привыкли ее называть в обиходе между собой, Гастелло – чей самозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю страну: всё, кроме Полина горя.

– Знаешь, нехорошо у нас с тобой получается, – со вздохом сказала Варя. – Может быть, в эту самую минуту милые наши бегут по несчастью полю со штыками наперевес, кричат и падают... а мы сидим и чай пьем с малиновым вареньем.

– Это правда. Надо отдать его... – испуганно согласилась Поля и отодвинула свое блюдечко.

– Но кому, кому?

– Я тут знаю госпиталь один. Вчера *их* выгружали при мне... много. И хоть бы застонал какой-нибудь! Вместе отнесем завтра, ладно? – И на короткое время от одной этой решимости обоим стало немножко легче.

... На другой день Варя сообщила о своем скором отъезде на строительство оборонительных рубежей; целые две недели Поле предстояло оставаться хозяйкой. Детское огорчение омрачило ее лицо, и Варя задумалась, что все эти годы, всемерно оберегая молодежь от сомнений и житейских будней, достаточно ли подготовили ее старшие к принятию на свои плечи такого же груза, какой сами несли в их возрасте? Как бы в ответ Поля заискивающе осведомилась, сможет ли и она присоединиться к Вариной группе, и опять украдкой заглянула к себе в ладонь.

– Хорошо, я поговорю в институте, – кивнула Варя. – Кстати, что ты там прячешь в кулаке?

– Ничего... тебе показалось, – вспыхнула Поля.

– Тогда покажи.

Поля протянула ей пустые, пальцами вниз, руки с обгрызенными ноготками, в смоле от неошкуренного черенка лопаты; лишь ночью, при свете спички Варя разглядела в ее разжавшихся ладонях темные, порванные кровоподтеки мозолей. Видимо, эта маленькая боль помогала вихровской дочке преодолеть ту, большую, пока неизвестную Варю.

## 4

В следующий раз сирены взвыли тотчас по возвращении девушек из театра. Лунная ночь обещала обстоятельный налет. Поля сама вышла на крышу, и Варя сразу узнала подругу, едва та в кожаной куртке и с противогазом на боку появилась из слухового окна. Чутье педагога удержало ее от удивления или похвалы. Она отвела Полю к ближайшей дымоходной трубе и рассказала вкратце, что должен делать взрослый невооруженный человек при нападении громадных летучих машин на его жилище.

– Знаешь, Поленька, я так терпеливо ждала, когда же в тебе созреет твоя гордость... – Впрочем, Варя не догадывалась, какую роль при этом сыграло Полино опасение вторично оказаться в соседстве с Грацианским. – Вооружайся: вот тебе совок и клещи... ну, бери, не руками же ты будешь скидывать *ее* вниз, когда она свалится с неба возле тебя. Остальное сделают другие. Ты не боишься высоты?

– Самую капельку... – созналась Поля и не сдержалась, – а если *она* упадет прямо на меня?

– Ну, тогда... то же самое: остальное сделают другие! – засмеялась Варя и без единого слова ободрения ушла на свой пост.

Легкая, перемежающаяся со светом мгла висела над столицей. Сквозь облачную пену увертливо бежала луна, и у всех, кто дежурил в ту ночь на московских крышах, рождалось бессознательное желание стрелять в нее, как в наводчика предстоящего злодейства... и тем подлее выглядело ее дело, что была она молоденькая и невинная, напоминавшая цыпленка своей пушистой желтизной. Когда она зарывалась в облака, город внизу походил на первозданные нагромождения скал с каньонами улиц, с черными кратерами площадей... но тень сбегала, и опять он становился неправдоподобно прекрасен – почти декорация героического спектакля за минуту перед вступлением главных действующих сил. Воздух был не то чтоб холоден, но до дрожи проникнут ожиданием болезненного постороннего прикосновения. С непривычки Поля зацепила совком за нитку наружной антенны; шумно скользнув по железу, он полетел вниз и летел так долго, что Поля успела вытереть пот со лба, прежде чем ее слуха достиг приглушенный дребезг падения. Этот единственный в тишине звук словно и послужил сигналом к началу.

Луна снова нырнула в тучку, и сразу по всему югу московского горизонта возникли недолговечные фонарики заградительных огней; минуту спустя донеслась воркотня разрывов. Вскоре они приблизились, и, несмотря на безмолвие, Поле понятно стало вдруг, что скалистые громады вокруг полны людей, готовых на собственное тело принять воздушный удар врага. Потом было так, словно внезапно открылись шлюзы света и грохота; взрывная волна слегка толкнула Полю в спину, а ее длинная, переломленная тень вместе с силуэтами дымоходов и чердачных надстроек легла на соседние строения. Одновременно с ближней крыши ответили зенитки, как в грозе выхватывая из мрака то мертвенно-бледный фасад, то древесные кроны неизвестной породы, а в небе, падая и скрещиваясь, закачались лучи прожекторов. Неторопливыми пальцами они перебирали складки неба, ища что-то производившее тот надсадный, точно от камешков в жестянке, всюду слышный звук. Все не то попадалось им – охалка ваты, тело рыбы с недвижными плавниками... и вдруг нечто серебристого цвета, вроде пташки на крутом вираже, объявилось в световом диске над Полиной головой: вражеский самолет ослепленно кружил на месте.

Усилием воображенья Поля разглядела в нем крохотное существо с ожесточенным лицом и в защитных очках, сдвинутых на такой же взмокший, как у Поли, лоб. Оно силилось поймать в прицел безоружную, прижавшуюся к каменной кладке московскую девчонку там, внизу, и, возможно, в этом и заключался единственный смысл всеевропейского поединка. Уже разрывы вспыхивали рядом с летчиком, а он все не отказывался от клятвенного обещания своему

фюреру разнести в щебенку именно этот недостроенный дом лесного ведомства, и Полю Вихрову вместе с ним, и лично ей принадлежащий сундучок с маминой карточкой на крышке, с новым маркизетовым платишком и стихами Родиона на самом дне. На долю мгновения Поля испытала озноб нечеловеческого бесстрашия, каким сопровождается всякое благородное преобразование души. Такою при очередной зенитной вспышке и запомнила ее Варя – с поднятыми кулаками, словно грозила расквитаться впоследствии.

Остальное сделали другие. Самолетик задымился и, пригибаемый лучом, пошел к себе, на запад. Лицо фашиста исчезло из воображения. Поле не досталось видеть, как он умер. Еще один шквал обрушился на затемненный город, а когда Поля раскрыла глаза, звенело стекло невдалеке и какие-то факелы множественно сияли кругом, одни – в пробоинах крыши, другие снаружи, каскадно извергая искры. Ближняя горела в желобе у самых ног, задержавшись на железном костыле, и Поля сама удивилась, как легко удалось ей скинуть во тьму, за борт это маленькое озлобленное пекло... Их выпало тысячи в ту ночь, атака продолжалась почти до света, пока Поля физически не устала от непрерывного движения – бежать, скользить и побеждать их прежде, чем возникнет обстоятельный пожар.

... А уже светало, и под синей шторкой туч алела полоска на востоке. Все схлынуло, как дурной сон. Утренняя Москва была тиха и девственно хороша собою. Кроме большого дыма в Замоскворечье, ничто не напоминало о ночной схватке. Похожая на испарину после пережитого волнения, легкая роса лежала на опустелых крышах.

– Я вижу, ты в полном порядке, и это очень хорошо, – похвалила Варя, признанная мастерица в тушении зажигательных бомб. – В такой суматохе больше всего надо бояться своих же зенитных осколков. Тебя не задело?

– Я их не заметила... но признаться, как же мне хотелось, Варька, чтоб все это кончилось скорее! Как ты думаешь, сколько еще ее осталось?.. год, два?

Варя сразу поняла ее вопрос:

– Да уж к Новому-то году вряд ли кончится. Ты о войне?

– Нет, я вообще спросила...

Варя задумалась, не очень уверенная, достаточно ли подросла ее подружка, чтоб знать правду.

– Видишь ли, Поленька, фашисты – только эпизод в большом историческом соревновании. – Она помедлила с ответом, потом решилась. – Вспомни сама: если на выяснение мелких наследственных неурядиц между Алой и Белой розой ушло целых тридцать лет, то на великий спор между алой и белой половинами человечества – столетие совсем немного. Впрочем, считай, что процентов двадцать уже сделано...

Разгоряченная происшествием ночи, Поля без труда представила себе, во что превратилась бы она, если бы весь этот срок просидела в подвале с Грацианским и по окончании выползла на солнце старухой, сохранившей жизнь лишь затем, чтобы испытать презрение к ней.

– Как я благодарна тебе, Варька, что ты вытащила меня *оттуда*.

– Прежде всего, никто тебя не вытаскивал, ты сама притащилась на крышу. Так и должно было случиться. Рассказывай же, как это было. Сперва тебе казалось, что целят в тебя одну, так? потом ты увидела миллион таких же вокруг себя верно? – Она усадила Полю рядом с собой – Да ты не стыдись, глупая, людям свойственно бояться нападения из темноты.

– Это не совсем так... – сказала Поля, ища Кремль в рассветных сумерках. – Знаешь, было как бы полуобморочное состояние вначале, словно от ледяной воды, а потом я увидела врага над собой, и сразу страх сошел с меня как будто вместе с кожей, и что-то загорелось во мне, как бы это сказать точнее... все тело души! – В руки ее вернулась дрожь недавнего возбуждения. – А ты видела, видела, как *он* удирал с дыркой в боку? Не хватило силенок ударить собою, как снарядом. Тоже, Икар... не чета нашему Гастелло!

Варя удовлетворенно кивала, словно выслушивала заданный накануне урок; потом, чтоб закрепить первый успех подруги, она произнесла некоторые хрестоматийные истины своего изобретения, вроде того что «никакая большая победа не дается раньше маленькой победы над собой», или что «на войне жестокость к себе самому не менее важна, чем ненависть к врагу», или что «подвиг, как и талант, сокращает путь к цели». По ее словам, чтобы побороть грубый инстинкт самосохранения, необходимо в первую очередь преодолеть мистику войны, первоначальное оцепенение перед неизвестностью, точно так же подавляющее человеческую волю, как у доисторических людей это случалось при соприкосновении с мамонтом, землетрясением или грозой.

– Отсюда мы можем сделать ценное заключение, – поучительно диктовала Варя, и только очков на ней не хватало для полного сходства с Марфой Егоровной из лошкаревской десятилетки, – что самое важное в борьбе – увидеть врага во весь рост, понять, что и он смертен. Поэтому-то на фронте, конечно, во сто крат опаснее, чем в тылу, но, мне думается, менее страшно, чем в подвале Благовещенского тупика... Вот так же люди когда-то называли холеру и чуму бичом бога, пока не разглядели их сквозь выпуклое стеклышко микроскопа и не загнали в пробирку, то есть от страха перешли к действиям. Капитализм не страшней холеры, Поля, только хитрей, живучей, потому что гнездится не в теле, а в душе... но взглядишь в него глазами науки, и ты поймешь, как ненадежна его сила, как он боится даже тебя, маленькой и безоружной... и даже не столько шахт или заводов твоих, а прежде всего сияния молодости в твоих глазах! Молодость никогда не помирится со злодейством: она и в прорубь и в пожар кинется... Вот почему эти люди убивают детей... и на тебя замахиваются в том числе, Поля. – Она кончила и едва не приказала Поле повторить.

– Варвара, ты великая женщина! – полминутки спустя заговорила Поля, с влажными глазами и смешно наморщив нос. – Если тебе в двадцать два уже приходят такие замечательные мысли, то что же будет, когда тебе станет пятьдесят?

– Ну, знаешь ли, милая... – заливаясь краской, оборвала Варя, – в подобном состоянии тебе лучше помолчать.

На крыше они просидели до солнца, слушая сверлящий свист стрижей. Сгоняемые утренними лучами, аэростаты заграждения погружались в индустриальную дымку пригородов. Потихоньку алели шпили, башни, купола, тронутые золотцем восхода. Начинала грохотать река жизни, и казалось, вот-вот двинется подъемный кран на ближней новостройке... Однако, по мере того как остывало Полино ликование, все сильнее разгорался в запястье ожог от термитных искр, не замеченный в переполохе.

– Я тебя ужасно уважаю, Варька, – опять и опять возвращалась к своим мыслям Поля. – Нет такого на свете, чего бы ты не знала... и сколько осадков выпадает в Тургайской степи, и какие притоки у притоков Амазонки: все! А признайся, мы ужасно хорошие, верно? Это не самохвальство, вовсе нет, не я или ты – хорошие, но вместе с прочими ты и я... пусть в самую последнюю очередь! Ведь мы хотим сделать, чего никто не мог, чтоб все на свете было умно и честно... хотя бы для этого пришлось весь мир перебрать по песчинке. Никто не смел – ползал, плакал, грыз землю и не смел, – а мы решились.

– Ну, дорогая моя, мы беремся лишь за то, что возможно. Человек... он и называется так не потому лишь, что носит шапку зимой или ходит в кино по воскресеньям.

Поля говорила без остановки: действовал опьяняющий напиток первой победы. Она доверчиво призналась, что еще вчера ей хотелось срезать все цветы на земле, чтоб ничто не радовалось, не цвело, потому что это оскорбительно в такую пору, когда умирают самые замечательные люди. Значит, то была ее ребячья слабость: не губить надо цветы, а телом защищать их от танков, от чужих сапог, от огнеметов – нежные лепесточки жизни... Она оборвала на полуслове, неожиданный ручеек аромата коснулся ее ноздрей. Вдруг он потерялся, и Поля жадными ноздрями искала его в холодноватом, вкусном воздухе избегнутого несчастья.



– Что это, хорошее такое?

– Это липы... Они уж доцветают, – подсказала Варя. – Сама говоришь о цветах, а не видишь их. Думаешь, если война, так все остановилось? Напротив, жизнь продолжается, Поля. Ну, пойдем спать!

– погоди, Варька, дай мне поздороваться с ним...

Подняв головы, с опущенными руками, они благодарно глядели на восходящее солнце, очень спокойное, но как бы слегка затянутое крепом.

## 5

Однако все это были лишь обманчивые признаки близкого выздоровления. Утром Полю разбудило жжение в заметно подпухшей руке; оно пронизывало запястье насквозь, отдавалось в плече, и все же боли теперь не хватало, чтоб заглушить ту, главную. Поля услышала голос Натальи Сергеевны в коридоре, и через цепь передаточных звеньев замолкшие было измышления об отце вернулись к ней в расширенном объеме. Наступала мучительная ясность прозрения, и вот в новом толковании предстали перед ней еще вчера успокоительные обстоятельства: бедноватая обстановка вихровского жилья и неестественное после долгой разлуки радушие этой... ну, как ее? – Таиски. Злодейство не ходит без маски в наши дни... и уж если *этот* человек способен был в прошлом продавать свою совесть за двадцать пять помесечно, на что он мог пуститься теперь, под шумок войны, когда внимание народа отвлечено в другую сторону?

Несмотря на ранний час, Вари не было дома. Газ почти не горел, есть не хотелось, занятия к вступительным испытаниям не шли на ум. Обмотав руку платком, Поля вышла наугад из Благовещенского тупика. Целей не было, работать лопатой не могла; в качестве лекарства она избрала тот же маршрут, что в день приезда, но и прогулка по любимой улице не доставила облегчения. Больше не было там ни веселых людей, ни искусительных товаров. В одном месте ноющий зноб в зубах пробудил ее от оцепенения, – оказалось, машинально разглядывала хирургические никелированные инструменты в магазинном окне. Она вся сжалась при мысли о Родионе. Дальше шла не подымая головы, и за всю дорогу ей запомнилась только глубокая воронка на краю тротуара, исчезнувшая на обратном пути.

Москва жила обычным утренним распорядком. Разгружали теплый хлеб, а дворничихи подметали улицы... но в то же самое время везли подбитый самолет на грузовике, и стройные девушки несли длинный зеленоватый баллон, похожий на многоножку. В поисках применения себя Поля безуспешно заходила во дворы: в одном извлекали бомбу из водопроводного люка, а в другом домохозяйки учились перевязкам плеча на добровольном старичке, в кепке набекрень, явно не расположенном к щекотке. Иногда Поля останавливалась возле уличных витрин со старыми объявлениями и удивлялась, что еще совсем недавно она могла предпринять одиннадцатидневное путешествие по Волге, а теперь ей приходилось думать о способах морального существования после разоблачения Вихрова: всякий раз при этом слово *родство* с ним приобретало значение *сообщничества*. Нет, она не бедствий и кары боялась, а стыда и одиночества. Вдруг ей представилось: рядом стоит солдат с лицом Родиона. Он усмешливо глядит ей на руку, готовый даже и этот ненамеренный, очень болезненный ожог счесть за маскировку преступления.

«И ты мне не веришь тоже?» – спросила она Родиона с жалкой улыбкой.

«Я ничего не знаю. Я далеко, мне некогда. Мы выползаем на огневой рубеж. Их уже видно, и какой-то бежит мне навстречу. Мне до него ближе, чем до тебя. Сейчас один из нас умрет».

И правда, он выглядел тревожно, возмужавший от загара и худобы. Серые струи реки текли сквозь него.

Подошедший милиционер сказал Поле, что нельзя так долго стоять на мосту. Он делал вид, что листает ее паспортную книжку, а сам разглядывал Полю лицо. Слава богу, он ничего пока не слышал о деятельности Вихрова!.. По бессознательному влечению Поля поднялась к Василию в девяти азиатских шапках и двинулась вдоль кремлевской стены. Мавзолей был закрыт. Поля дважды прошла мимо, потому что в один раз не успела рассказать всего о себе человеку, который лежал там за мраморной полированной стеной. Вся Полина исповедь, включая биографию и перечень отметок в школьном аттестате, уложились в полтора конца. Ленин сказал, что нехорошо тратить время на личные горести, когда армией оставлены Смоленск

и Киев. Он сказал также, что самочувствие советского человека складывается не только из отношения к нему пусть даже самых больших людей, но и от сознания размеров собственного труда, вложенного в бессмертное дело социализма. А когда спускалась к реке, прибавил вдогонку, что верит ей, и, если только не ослышалась, назвал *дочкой*. Вся река жизни затихла – и сердце и пожар в руке, – пока он говорил с нею. На это ушел весь день. Синие тучи напознали на город, пока дотаскилась до Благовещенского тупика. Шумней галчат перед дождем ребятишки выкрикивали свой *каравай*. Восемь этажей показались Поле за восемнадцать: лифтерша накануне из патриотических побуждений ушла на завод... Небо потемнело, двухдневная жара сменялась предчувствием разрядки. Варя прибежала за минуту до грозы.

Тут выяснилось, что сдача неприятелю Вереи на целых два дня ускорила срок ее отъезда в прифронтовую полосу. «Если тебе это так нужно, Поленька, ты можешь поехать с нами... Думаю, что ненадолго. У тебя останется целая неделя до экзаменов». Беззвучно сверкнуло на горизонте, и синий холодок тишины повис над городом. Ветер запарусил платье на Варе, высушившейся на балкон поостыть от бега. О, ей бы на Енгу сейчас, за весла, да чтоб пенистые гребешки по воде! Вообще она хорошела, статней становилась в непогоду, когда получали оправдание ее здоровье и излишний в городе запас прочности, а Поля подумала с тоской, насколько эта некрасивая девушка умней, чище и нужней людям, чем она сама.

Еще не начиналось. Где-то в померкшем небосклоне ворчливо и глухо прокатился гром. Опять закричали дети, помогая разродиться грозе.

– Милые, как же они стараются!.. – заметила Варя, словно в музыку вслушиваясь в детский крик внизу. – Будто хотят отпугнуть войну. Боже, как хорошо могли бы жить люди! – и покачала головой.

Дрожащими руками Поля накрывала на стол, и вдруг из перевязанной ладони выскользнула любимая Варина чашка. То была фамильная ценность, подарок дулевских мастеров Павлу Арефьичу на память о совместном партизанстве в гражданскую войну. Особой красоты в ней не было – только суровая, по девственно белому фарфору, надпись о мире хижинам и войне дворцам. Обернувшись на звон, Варя увидела слепительные черепки на полу, залитые молнией, и почти черный румянец испуга на Полиных щеках. Все скопившееся за эти дни вырвалось наружу. Ливень грянул одновременно по всей Москве. Он зыбунами ходил по крышам, захлестывая в комнату, превращаясь в туман и брызги, так что Полина подушка тоже оказалась мокрой. Напрасно Варя старалась утешить подругу. Тучка стояла прямо над Благовещенским тупиком. Можно было дивиться, как в такой маленькой умещалось такое отчаянье. И едва ливень в два могучих маха промыл застойный воздух, горная свежесть разлилась по Москве.

Еще вся в слезах, шаг за шагом, Поля раскрыла свою тайну, а Варя перевязывала ей руку и качала головой: неизвестно, какая из двух ранок была опаснее для жизни. Получалась грустная повесть о том, как постепенно Поля теряла отца, – с того давнего вечера, когда впервые в пашутинском чулане со статейкой Грацианского в руках оплакивала свое горе, вплоть до того, как образовалась защитная привычка даже на школьных тетрадях возможно неразборчивей надписывать отцовскую фамилию и, называясь, переносить в ней ударение на первый слог. Легче было бы примириться с сознанием полной бездарности своего отца, даже с сиротством, чем с этими липкими, расплывчатыми политическими обвинениями Грацианского, особенно зловещими в свете недобрых сводок с фронта.

– Мне сказал один человек, что я гожусь в следователи. И верно: теперь я знаю все. Слушай же меня, Варя!

Разговор в подвале прояснил многие недостающие звенья в системе Полиных подозрений. Разумеется, Грацианский знал о Вихрове гораздо больше, чем проболтался в тот раз из стариковской потребности блеснуть осведомленностью и заработать уважение у незнакомой девчонки. Без сомнения, и матери ее, Елене Ивановне, было известно прошлое мужа, если заблаговременно поторопилась увезти дочку на Енгу от возможного разоблачительного скан-

дала. Всегда до щепетильности честная в отношениях с коллективом, она, надо думать, лишь после долгих колебаний решилась утаить от общества какую-то случайно обнаруженную улику. И если сам Грацианский все время пытался немножко обелить бывшего приятеля из опасения бросить тень на собственную репутацию, тем понятней становилась малодушная логика женщины, стремившейся обеспечить спасительное неведение своего ребенка. С каждой минутой таинственность росла, и вот уже, как в воронку водоворота, сюда втягивалась и мама!..

Из-за невежества в лесных делах Поле было не под силу самостоятельно разобраться в отцовских грехах; конечно, самолично он сосновых роц не поджигал и не взрывал советских лесопилок, что сразу было бы замечено вследствие происходящих при этом разительных изменений, но, следовательно, был выдающимся артистом в этой области, если, несмотря на многолетнюю темную деятельность, удержался на профессорском посту. По мнению Поли, дело требовало самого срочного общественного вмешательства.

– Пойми, Варя, я просто иду ко дну... с камнем на шее иду, – бормотала она сквозь всхлипывания. – Выход один: мне надо пойти в наш райком, но ведь у меня же нет никаких улик, и я никого там не знаю. Пойдем вместе, сейчас, мы и так пропустили столько дней, ладно?

– У тебя жар, Поля, наверно от ожога. Надо показать врачу. В комсомол можно и завтра.

Выразительным жестом Поля обозначила свое отношение к Вариной попытке свести разговор на пустяки.

– Тебе хорошо: ты Чернецова!.. а ты поставь себя на мое, вихровское, место. Вот мы сидим, и, вообрази, входит солдат в простреленной шинели и ничего не делает мне – ни зла, ни боли, а только, нащурясь, смотрит не в твое, а в мое, мое лицо... что тогда, а? – и горящим взором посмотрела на смущенную, усомнившуюся Варю.

– Да ведь я сказала только, что *туда* можно и завтра сходить, – отвечала Варя, и никогда у ней не бывало такого озабоченного лица. – Но что ты можешь сказать там? У тебя нет никаких точных сведений, а жизнь вообще строится сложнее любых предположений. Например, я возвращалась сюда, зная наперед все обстоятельства, какие застану дома... а не могла предвидеть, что разобьется эта чашка. Я вовсе не хочу опорочить твоего знакомого в подвале... ну, а если он по злобе или зависти сознательно оговорил Вихрова и для безопасности придал этому характер этакой встревоженной дружбы, тогда как? Есть такой примелькавшийся сорт клеветы, произносимой с видом ангельского неведения, – дескать, это очень добрый и застенчивый товарищ, если бы не его излишняя привычка обучать школьников гадостям. Потом этот тип вернется домой, поест колбасы и ляжет спать с приятным сознанием, словно деревце на чужой могилке посадил... которое будет все расти, развиваться и приносить обильные плоды. Что касается разезда твоих родителей, тому могли найтись и другие причины. Сколько мне помнится, твой отец происходит из крестьян, но мать... кажется, дворянка?

– Дальняя... – невпопад и проваливаясь еще глубже, вставила Поля в стремлении сохранить для себя хоть мать.

– Это не важно! Воспитанные в разных условиях, они могли разойтись во взглядах на некоторые явления нашего времени. И вот второе твое сооружение оказывается построенным на песке, архитектор! Остается выяснить, насколько принципиальна критика твоего подвального собеседника... все забываю его фамилию. С другой стороны, любая наша работа проверяется мнением коллектива, потому что в обмен на нее мы берем хлеб или обувь, изготавливаемые другими. Отсюда резкость общественной оценки пропорциональна недостаткам работы. Тут надо разобраться... да ты сама-то читала папашины творения?

– Я старалась... но у меня не получается. – Внезапный свет надежды зажегся в Полиных глазах. – Варенька, ты же географичка, а он о лесе пишет: тебе легче всего разобраться. Кроме того, ты терпеливей всех на свете... почитай, пожалуйста, его сочинения, и потом скажешь мне одну сущую правду, ладно? – И тут же комсомольским словом поручилась, что больше никогда и ничего не попросит у нее до конца жизни.

- Что же, я готова, – не сразу согласилась Варя. – Но где мы достанем теперь эти книги?  
– О, разве я заставлю тебя бегать по библиотекам! У меня все есть... почти все!

И, не давая подруге одуматься, она выхватила из-под кровати свой чемодан: так объяснился наконец чрезвычайный вес ее пожитков. Под слоем носильных вещей помешались книги: никак не меньше дюжины, в матерчатых переплетах и пугающе объемистые. Правда, между ними попадались и брошюры, даже просто журнальные статьи, оклеенные корешками из обойной бумаги. Торопясь избавиться от непосильного груза, Поля выкидывала эти килограммы лесной мудрости прямо на пол к ногам подруги, то и дело справляясь с выражением ее лица.

– Ну, что ж ты замолкла? – виновато спросила она с колен.

– Нет, как было тебе обещано, я непременно прочту... со временем, – менее уверенно отозвалась Варя. – Однако он у тебя продуктивный сочинитель... Сколько их тут?

– Только двух не хватает. Знаешь, ты принимайся за чтение теперь же, а я тем временем подкину тебе недостающие. Начинай с тоненьких, а втянешься, я по себе знаю, там уж легче пойдет.

Итак, все устраивалось отлично: неподдельная радость светилась в лице у Поли, подкрепленная безоговорочной верой в неподкупность судьбы. Вся жизнь Вихрова валялась на полу перед ними, его мечты и заблуждения, улики его любви и гнева, и прежде всего – черный, неоплатный труд, проделанный во исполнение мальчишеской клятвы Калине. Здесь были введения в лесные науки, также основы к пониманию леса как географического явления, товара, живого организма, климатического фактора, сырьевой базы народного хозяйства; но главные свои работы Вихров полагал еще впереди. Самая увесистая наверху носила название – *Судьба русского леса*.

Варя подняла и заглянула на последнюю страницу – их там было семьсот с чем-то. Почти весь объем книги занимали набранные петитом столбцы десятичных дробей, таблицы и карты России чуть ли не с Олеговых времен. Для прочтения подобного труда требовались не только специальные знания и терпеливая выдержка, но еще вдобавок энтузиазм любви или ненависти.

Варя колебалась: она успела сообразить, что для обстоятельного вывода ей никак не обойтись без ознакомления и с доводами вихровских противников, а равно и с государственной лесной практикой в разные исторические периоды России, на что уйдет не менее полугода.

– Видишь ли, я с удовольствием прочла бы все это, Поленька, но мне неясно... управлюсь ли я до отъезда. – Вдруг она усмехнулась, представив себя в роли арбитра по лесным делам. – Знаешь, положи-ка все это назад... завтра я попытаюсь добиться истины другим путем.

– Но ведь война, и, может быть, в эту самую минуту... – разочарованно настаивала Поля.

– Все беру на себя. С утра ты пойдешь к врачу. Потом займись алгеброй, пока есть время. К обеду завтра меня не жди. – Она приподняла за подбородок огорченное лицо подруги и заставила улыбнуться.

Очертания города расплывались в теплом тумане после дождя; точно так же и горе Полино таяло от материнской Вариной ласки. Ночь прошла без тревоги, утро, к счастью, выдалось такое же пасмурное. Докторша побранила Полю за легкомысленное обращение с зажигательными бомбами. Весь день длилась благодатная пустота полуйсцеленья. Варя вернулась как раз к обеду – веселая, загадочная, голодная.

– Ты так ко мне присматриваешься, что я тебя немножко боюсь, – через силу пошутила Поля.

– И не без оснований, берегись. Могу проглотить тебя в один прием. Варила что-нибудь, окающая?

– На всякий случай я сготовила на двоих, – и все не смела расспросить о результатах Вариной разведки. – Стыдись: я так тебя люблю, а ты меня съесть хочешь...

– Одно не противоречит другому. Как-то при мне, укладывая внучку, Наталья Сергеевна рассказывала ей про великаншу, которая так любила малышей, что на ночь непременно прятала парочку их себе в животик...

– По-моему, это не педагогично – прививать детям такие выдумки... – И опять Поля не решилась на прямой вопрос. – Что нового на свете?

Варя достала из сумки два розовых талона.

– Возьми, у нас сегодня праздник. Ходят упорные слухи, что какой-то там зондерфюрер поднял в Берлине восстание против своего ефрейтора... Это билеты в кино, правда, не очень хорошие, зато ты будешь сидеть рядом с виднейшими представителями нашей молодежи и кушать роскошное мороженое на палочке... Позволь, да это же настоящая пшенная каша? Поля, ты впадаешь в изысканность...

– Извини только, масло у нас кончилось.

– Вот и видно, что у тебя нет законченного кулинарного образования. Чудачка, кто же ест пшенную с маслом!

Она с наслаждением вдохнула с тарелки горячий пар и мысленно похвалила Полю за выдержку, с какою та удерживалась от допроса о самом главном.

После обеда она сама посвятила ее в свои мероприятия по розыскам правды о Вихрове. Ей еще вчера пришло в голову, что для постановки правильного диагноза желательно в первую очередь выслушивать пациента. С этой целью она отправилась в Лесохозяйственный институт и героически, около двух часов, прождала Полина отца в красном уголке. Вокруг здания наблюдалось оживление, обычное в это время года, когда начинается съезд студентов. Уборщица сообщила Варю, что в большой аудитории наверху происходит общее партийное собрание, на котором принимают в партию профессора Вихрова; при этом старушка назвала его по-домашнему Матвейчем. «Словом, Поля, поздравляю с благополучным исходом, цветы за мною... из первой же стипендии!» Вскоре Варя познакомилась с ним самим: Вихров спускался по лестнице, прихрамывая и взмахивая рукой, как бы отсчитывая ступеньки. Для завязки разговора Варя сказала ему, что ее двоюродная сестренка собирается поступать в их институт, но сперва ей хотелось бы ознакомиться, или, как она выразилась впопыхах, дыхнуть воздухом лесной науки.

– Но я же в архитектурный иду... Варька, ты солгала, как тебе не совестно!

– Во-первых, в твоём возрасте выбор специальности нельзя считать окончательным, и кроме того... разве ты перестала мне быть сестренкой?

– Ладно... а он?

Профессор выразил неудовольствие, что будущая студентка поленилась прийти сама. «Лесник нашего профиля, – сказал он, – это считать в уме, запоминать, сравнивать... и прежде всего ходить, ходить, не жалея ног». Он иронически осведомился у Вари, между прочим, что именно привлекает в лесу ее подопечную особу – цветы, грибы, ландыш или самые дрова; последнее слово он произнес якобы с оттенком нескрываемого раздражения. Варя объяснила выбор сестренки наследственным влечением, так как отец ее также является старым лесным работником.

– Как видишь, я старалась держаться в рамках правды.

– Дальше... а он что?

– Тогда он довольно справедливо указал, что если работник леса не сумел внушить дочке почтительного представления о своей работе, значит, он далеко не гений.

– Вот здорово, сам про себя... ну, а ты?

– Я выразила надежду, что дочка загладит отцовские упущения.

– Ой, Варька, даже голова закружилась... А он что?

– Рассмеялся и пригласил на свою вступительную лекцию недели через три... если я смогу тебя доставить хоть в детской колясочке, так и сказал... А к тому времени мы как раз вер-

немся с окопов. – В дирекции Варя получила сведения, что собственный курс Вихров читает лишь с третьего года обучения, но вводную речь, по многолетней традиции, поручают ему, и будто бы даже профессора смежных кафедр приходят послушать этого заступника лесов в его коронном репертуаре. – Надо полагать, что первую-то беседу с зеленой молодежью он ведет на доступном языке, и потратить на нее часок-другой тебе гораздо выгоднее, чем самой глушить тысяч шесть страниц убогистого текста.

Не скрываясь, Поля все кусала и без того обкусанные ноготки, пока Варя не отвела ее руки.

– Скажи, Варька... он по крайней мере приятный в обращении человек?

– Я не советую тебе, милая, делить людей по этому признаку. Это может привести к большим просчетам.

– Но казался он хотя бы взволнованным... что его приняли в партию в такое время?

– Нет, я ничего такого не заметила.

Варе запомнились только черные пучки его бровей, желтоватый цвет лица, крупный подвыстриженными татарскими усами рот, как бы приспособленный произносить не очень приятные слова, – хромота, угловатость повадок и наискось сброшенные на лоб волосы довершали облик малообщительного и побывавшего в нужде мастерового. К сожалению, Варе показалось, что все это лишь маска...

– ...как, как ты сказала? – всполошилась Поля.

– Я говорю, маска, под которой скрывается большая доброта и даже чрезмерная мягкость.

– Но почему же – к сожалению?

– Не потому, чтобы я злых любила... но смирных не люблю. Всякая доброта и смирность влекут за собой взаимное всепрощение, а нам требовательные и гордые нужны, готовые ответить и на требовательность других. Поэтому вначале он мне больше понравился, чем в конце. Во всяком случае, обещанная лекция покажет, в какой степени ты виновата перед ним за опрометчивость своих подозрений. – Она мельком взглянула на поясное небо, предвещавшее скорый налет. – Ой, погода портится, не пропали бы наши билеты...

Так и получилось, что в кино идти не пришлось... Воздушную тревогу объявили рано, и никогда с начала военных действий такое количество вражеских самолетов не пробивалось на город. По замыслу врага, Москве надлежало обратиться в горстку золы, столько было сброшено огня, и все же опять его не хватило прожечь тонкую пленку людского сопротивления. Однако работы девушкам выпало много в тот вечер, и Поля отлично выдержала повторное испытание мужества.

Им пришлось стоять рядом в тот раз.

– А хорошо жить на свете, Варька!.. – кричала Поля в передышках, сбивая искры с затлевших рукавиц, вызывая у дружинников такую же улыбку, как в троллейбусе тотчас по приезде в Москву. – А ведь я даже в том раскаивалась, несчастная, что на свет родилась.

Варя же исполняла свое дело молча, и чем сильнее Поля выражала радость окончательного выздоровления, тем больше смущало Варю чувство вины перед подругой. Конечно, в те дни величайшей опасности и как всегда – политического единства, немало честных людей вступало в партию, чтоб разделить с ней труд и ответственность обороны... но та же пылкая восприимчивость, с какой еще вчера Поля преувеличивала свои подозрения, сегодня заставляла ее придавать несоразмерное значение вихровскому поступку. Второпях Варя как-то забыла сообщить Поле, что на том же партийном собрании в институте был принят в партию и профессор Грацианский.

## Глава четвертая

### 1

Надо сразу же исправить неточности, вкравшиеся в рассказ Александра Яковлевича о кое каких скорбных обстоятельствах вихровской молодости. Действительно, в биографию Ивана Матвейча затесался досадный факт получения двадцати пяти рублей от видного промышленника, хотя и без расписки, зато из рук в руки и даже при свидетелях, правда, давно умерших. Вместе с тем достойно сожаления, что среди многочисленных вихровских коллег не нашлось смельчака – если не поучить наложением руки, то хотя бы упрекнуть в легкомыслии рассказчика, связавшего этот эпизод со всей дальнейшей и беспорочной деятельностью своего научного собрата. При желании Александр Яковлевич мог бы извлечь из тайничков своей памяти ряд дополнительных сведений, не менее поучительных для незрелой советской девушки. Прежде всего пусть бы она убедилась на примере, чего стоило нищему пробиться к знанию в те годы, в отличие от нынешних времен; наряду с этим уточнилась бы и дата происшествия.

Это случилось во второй половине лета 1899 года, в самый вечер прибытия Вихровых в Петербург. К слову, за безбилетность Агафью с ее мальцом высадили из поезда за две остановки до столицы, на Мге, так что только легкая лыковая обувь да отсутствие лишней клади позволили им завершить путешествие в тот же день. Мать с сыном долго блуждали по длинным проспектам, концы которых терялись в белесой мгле бедствия, охватившего тогда всю Россию. Медноватое в дыму, на заходе, солнце придавало пугающую призрачность соборам и дворцам, коляскам и мундирам, внезапно проступавшим в десятке шагов, – бронзовым царям на каменных подставках, золоченым грифонам на мостах и прочим загадкам, неразрешимым для подавленного окружающим великолепием крестьянского ума... Ничем нельзя пренебречь при учете состояния одиннадцатилетнего мальчика, уличенного самим Грацианским в предосудительном поведении.

Любая улика требует применения лупы, хотя бы потраченное время и не окупалось ценностью добытых подробностей. Ко времени прибытия деревенской родни Афанасий Вихров успел возвыситься до чрезвычайной должности коридорного в меблированных комнатах *Дарьял*. Дядя размещался в довольно тесной, зато вполне теплой каморке под лестницей, впрочем не очень тесной, если там же, кроме койки и колченогого стола, находились подпертое поленом кресло и рулон персидского ковра, подготовленного в чистку. Словом, несмотря на тесноту, все расселись удобно и сообразно наклону дощатого потолка, причем дальний угол достался Ивану, а крайнюю позицию у двери занял по росту сам Афанасий. Пожалуй, во всем Питере не сыскать было местечка уютнее для семейного свидания, если бы только при поминутном сновании по лестнице не сыпалась с потолка всякая дрянь на изысканное Афанасьевое угощение.

Собственно, лишь лососина да рябчики в застылом соусе поместились на столе; блюдо с заливною поросятиной, например, покоилось на коленях Агафьи, а чайник, как вещь третьестепенную, пришлось и вовсе составить на пол, возле ног. Что касается торта со множеством лакомых завитушек, он был целиком передан в распоряжение Ивана. Отсюда, учитывая роскошество еды, скромное жалованье коридорного, а также *его* невероятно мрачную внешность, следовало заподозрить только что состоявшееся ограбление постояльца... впрочем, этого не смог бы предположить даже особо бдительный Александр Яковлевич Грацианский. Вся представленная пища имела несколько ковыряный вид... не настолько, однако, чтобы стала непригодной для употребления: стоило лишь повынуть вдавленные в нее окурки и посрезать обгры-



зенные места. В свою очередь, это объяснялось тем, что в *Дарьяле* шестые сутки гулял крупный денежный туз, полюбивший данное заведение за близость простонародной бани с отменным парным полком, тихость местоположения и еще за то, что ни в какой другой точке Российской империи не давали столь дивной квашеной капусты, наилучшего очистительного средства для богатырского похмелья. Обычно на первую половину кутежа гость откупал ресторацию в нижнем этаже, денька же через три, на главное беснование, переселялся в номер с избранным кругом наиболее стойких лиц. Таким образом, Афанасий не ложился уже три ночи, и, пока беседовал с родней, дважды гоняли его в буфет по неотложным купеческим надобностям.

В последний раз он воротился с заметным облегчением: гульба подходила к концу. Прежде чем пролезть в свою квартиру, он извлек из кармана поношенных плисовых шаровар еле початую бутылку хереса; сам он хереса не пил, а прихватил единственно для невестки, чтоб пригубила с устатку и постигла смак аристократической жизни... Необходимо сказать про Афанасия, что это был не плоше Матвея великан в синей крапчатой рубахе навывпуск, под жилеткой, с тяжким взором и такой смолевой бородищей, что Иван Матвеич всю жизнь ждал случая разузнать, не с дяди ли знаменитый живописец писал мятежного старшину в своем *Утре стрелецкой казни*.

– Все гудит, гуляка-то? – усмешливо догадалась Агафья, сдувая чайный пар с поднятого на пальцах блюдечка.

– Стихает, речного льда требовал. С утра прибираться почнем. С игро-ой!

– Богатый, видать, коли гудит.

– У него их ровно щепы, денег-то. Прошлый раз гадальца с собой привозил, теперь пророка при своей особе завел. Первейшего сорта ругатель: веришь ли, аж в мозгу отдается, как сверлильце свое наставит...

– Пошто ж ему ругатель-то, дядя Афанасий? – почтительно спросил Иван, уже в ту пору отличавшийся недетской любознательностью.

– А значит, для прочистки ума... чтоб уличал его беспрестанно: хмель сгоняет. Ну, вроде как заместо хрена, для нюхания, при себе содержит. Купец-то ему, вишь, на обитель обещался капиталцу отвалить, вот старик и лезет из кожи вон, старается.

– Чем же таким он торгует, купец-то твой? – по-прежнему бесстрастно осведомилась Агафья.

– А ничем... он лес зорит. Сказывают, три реки ободрал, четвертую собирается пустить по миру.

Афанасий и сам понимал, что это не доброе дело – родную землю голить, и даже имел в мечтах поговорить с царем при случае, чтоб навел наконец порядок у себя в державе, однако, в качестве коридорного, невольно преклонялся перед широтой разгула, перед этой ужасной волей к разоренью, в чем и заключалось его существенное отличие от покойного брата Матвея.

Со слов пьяного купцова приказчика Афанасий рассказал присмирившей родне про начало той удивительной карьеры; десятью годами позже и так же случайно студент Вихров стал свидетелем ее бесславного конца... Выходец из бурлацкого рода, будущий искоренитель лесов сперва ходил с отцом в артели снимать обмелевшие караваны с перекатов, валил заветные помещичьи дубравы, еще красовавшиеся тогда кое-где на Руси, сиживал десятником на чужих катищах – всего хлебнул за свою постыльную редьку с квасом. Нужда закинула его весной в низовья Волги, и с этой поры молва приписывала ему изобретение опасного, но доходного промысла, так называемых *мартышек*. Полая вода разбивала сплавляемые плоты о берега, рвала на прибрежных корягах, так что к концу пути от них нередко оставалось лишь обезличенное, шедшее россыпью, ничейное бревно. Речная голытьба ловила его в расставленные кошели и вторично продавала владельцам сплавных билетов. Вороватый и сметливый, этот человек в три года подмял окрестную мелюзгу и по ее скрюченным, ревматическим спинам вышел в шуки всероссийского значения. Заблаговременный подкуп плотовщиков в целях облегченной

вязки удваивал добычу хищника... и вдруг он бросил реку. Рост промышленности и возраставший спрос на лесные товары погнали его как бесноватого с топором по лесам скудевшего дворянства. В отличие от известного в ту пору лесопромышленника Сукина, проредившего леса от Олонца до Пскова, или Афанасьева, вырубавшего центральные губернии, Кнышев подобно коршуну кружил над всей Россией, высматривая наиболее лакомые куски; только хрип древесного падения мог утолить его страшный зуд. Холодный пожар тем быстрее двинулся по русскому лесу, что обнищавшее крестьянство легко поддавалось на приманку зимнего заработка. Мужики подпрягались к заморенным савраскам, помогая купцу сдирать зеленый коврик с родной земли. Было что-то символическое в образе терпеливого крестьянского коняги, как в морозный денек, весь дрожа, словно струна, исходя паром с натуги, рвался он из хомутишка да веревочной сбруи, из самой кожи своей, и валился под кнутом, кормилец, и потом его волочили на господскую псарню по целковому за животину. Таким образом, нередко к исходу рубки у мужиков не оставалось ни хлеба, ни леса, ни коня, и – тогда вразброд, с чем придется, бросались на обманщиков. Гул рассекающих воздух колеб сменялся последовательно скрипом судейских перьев, звоном цепей, женским плачем, но все это перекрывал лязг торжествующего топора.

Иван слушал дядю вполслуха; лишь упоминание о нанятом пророке запало ему в душу. В учебную программу тогдашних церковноприходских школ входили и библейские предания о такого рода отчаянных людях, чье призвание состояло в обличении земных владык; за это одних жгли или распиливали пополам, более удачливые возносились живьем на небо, но мальчик и не рассчитывал на такие увлекательные зрелища. Его бескорыстно потянуло взглянуть на профессионального пророка хоть сквозь дырочку от самого мелкого гвоздика. И как только дядю в третий раз кликнули в номер кутилы, Ивана точно ветром выдуло из каморки.

Он крался по малиновой, прилипшей к полу ковровой дорожке до тех пор, пока не услышал за приоткрытой дверью сверлящего, презрением налитого голоса: кто-то вычитывал там, в номере, разного рода утешения, нараспев и как бы из священного писания. Словом, мальчику повезло: пророк находился в самом разгаре своей уязвительной деятельности.

– ...думаешь, скверный грехолюбец, медаль-то от персидского шаха выхлопотал, так и управы на тебя нету? Врешь, купец... врешь, волосатая твоя душа. В апокалипсисе слово представлено нерусское, *авадон*, сбоку звездочка. И такая же звезда под чертой внизу, при ей всего одно слово: губитель. Вот еще когда, значит, Иван те Богослов про тебя намекал...

– Чего городишь, старый хрен... кто меня там знает в апокалипсисе? Мое дело лес, – хриповато и довольно резонно огрызался уличаемый богач. – Эй, плохо, праведник, работаешь: не можешь, не можешь ты ничем меня пронзить... Знать, не выбьешь ты из меня нонче ни гроша!

– А ты не скалься, ой, не скалься, нищий царь... зрю, по бровам твоим зрю скорую твою, ужасную кончину. Ишь, ровно собачьим мехом подбитый, весь ты черный изнутри... ну, ответствуй мне, чей, чей это гнусный гроб в мутном зраке твоим отразился? – с новым приливом сил продолжал ругатель, и напрасно старался заглушить его чей-то щекошный женский смешок. – Опять же, голубь и лев живут с единою женою, а ты, гноепомазанный блудник, пошто богиню-то преисподнюю сюды приволок?... белую, гремющую костями! Не торопился бы, еще досыта натешиться с ею в могиле...

Столь разнообразного набора угроз никогда раньше не попадалось крестьянскому мальчику. Он прикинул было к замочной скважине – взглянуть на пророка, пока того не пресек уличаемый нечестивец, но в скважине торчал ключ. Тогда Иван просунул голову в щель, и дверь сразу беззвучно отошла, а какой-то проходивший коридором озорник поддал его сзади коленом. Мальчик Иван пролетел сенцы, распахнул головой драпировку, запнулся о складку ковра и, во исполнение желаний очутясь посреди пиршества, молчал, сидя на полу и потирая ушибленное плечо.

– О, немножко запоздавши, бедни молодой шеловек, – с неуловимым костяным акцентом проворковал над ним женский голос.

Видимо, кутеж подходил к концу. Кроме Афанасия да посыльного молодца при входе, их оставалось всего четверо здесь, в довольно просторном номере, расписанном мраморной синевой под казанское мыло, и с красной плюшевой мебелью. На диванчике, лицом к спинке, спал в одних носках курчавый толстозадый дядька в короткой гусарке, окантованной черным шнуром; заливчатские, с кисточками на голенищах, сапоги его стояли возле. Поодаль, у зеркала, пудрилась какая-то – долговязая, без кровинки в щеках, но с бездонными промоинами под нарисованными бровями, одетая в черное, щемящей красоты платье и – шляпишу с ниспадающими перьями. Ивану почудилось, что все это на ней нарочно, накладное, в том числе и желтые, в локонах, пленительные волосы, причем только стальной косы на длинном древке не доставало ей для полного сходства с тою, на которую ожесточенно намекал ругатель. Для отвода глаз *она* курила длинную папиросу, а дым тонкой струйкой вытягивался в окно, как бы в обход пророка. Последний оказался рыжим раскольничьим, не с Ветлуги ли, начетчиком в долгополом, замасленном и в обтяжку полукафтаны, с ременной лестовкой, которую зачарованно трогал лапкой откуда-то взявшийся котенок... В четвертом мальчик сразу узнал Кнышева.

Нет, Иван не мог ошибиться: это был он, разоритель Калины. Однако лесопромышленник заметно пооблез со времени их памятного знакомства на Енге, стал рыхлый и желтый после многодневной гульбы, весь – как соломой набили, и с глазами еще больше навывкате, чем прежде. Никто пока в России не догадывался, что уже началось падение Кнышева. Правда, он еще мог причинять зло и творил его посильно, но все чаще опережали его предприимчивые, более образованные соперники, подавлявшие его стихийный разбойничий талант беспощадной и расчетливой наукой обогащения. Как все сильные в упадке и слабости, Кнышев становился ласковее к тем, кого вчера запросто перешагивал на своем пути. Оставалось утешаться раздумьями о тщетности бытия, и, может быть, убедительней, чем ветлужскому пророку, все кругом, включая и этот прекрасный, в чадных сумерках, город за окном, – все мнилось ему сейчас бесцельным и мимолетным сгущением материи.

Он глядел на мальчика с особой щуркой приглядкой, непонятной для тех, кто сам никогда не носил лаптей; затем последовал вялый знак подойти. Афанасий подтолкнул племянника вперед, как под благословенье, а Кнышев притянул его, упирающегося, железной пятерней и запер меж колен.

– Из деревни приехавши, не отошел еще, Ваня звать. Он у нас строгой, в лесу вырос, – заторопился коридорный, скороговоркой сминая слова. – Лесные мы, а братан мой так даже и погибнул в причастности к лесному делу... а уж силен-то был, Василь Касьяныч: я его робел! Вот двое ртов осталось, рази их без отца прокормишь? Так что стремлюся парнишку, в пекарню к Егорову определить.

– Дело, дело... – размягченно одобрил Кнышев. – Только первая денежка трудна, а уж как приживется, она тебе сама ума подбавит, в путь-дорогу поведет! Ну, Ваня, скажи что ни есть, потешь меня, раз пришел. А может, песенку какую знаешь? Спой мне ласковым голоском, а я б тебе за песенку на сапоги отвалил...

– Мне не надо, – задыхаясь от пьяного кнышевского перегара, наотмашь качнув головой, бросил Иван.

– Как так не надо, пенек-топорик? – мирно и покровительственно шутил Кнышев. – Еще когда за службу твою жалованье-то положат... а Питер не деревня тебе: кому ты в Питере без сапог нужен? Вон у Егорова орлы царские на вывеске-то: самого главного величества поставщик. Пожалует к вам, примерно, митрополит за горяченьким калачиком, а ты и вылезешь на него эким чудищем в лаптях? – И чтоб укротить неразумие дикого лесного отрока, коснулся его темени, неумело постриженного лесенкой.

Иван рывком стряхнул его руку.

– Не тронь, укушу... – пригрозил он вполне убедительно.

– Ай не побоишься, волчонок? – И пересыпаемые камешки похрустели в голосе Кнышева.

– А когда боялся-то? – бесстрашно усмехнулся мальчик. – Забыл, как я на Облоге запалил-то в тебя тогда?

В этом месте пророк не без зависти покосился на мальчика, а смерть в шляпе рассыпала возбудительный смешок; тут бы и конец кнышевскому просветлению, если бы дядя Афанасий на выручку не подоспел. Перечислением родовых вихровских несчастий, действительных и мнимых, ему удалось кое-как отвести беду.

– Помню тебя, – с холодком сказал Кнышев. – Я тебя от Титки спас. Зубастый был... и меня бы загрыз, каб его лесиной прошлое лето не придавило. С чего ж ты тогда рассерчал на меня, аи лесок пожалел?

– И лесок, – кивнул Иван.

Кнышев поднял глаза на мальчика, и теперь все показалось ему значительным в этом желторотом птенце. Он вспомнил себя таким же, в выгорелой застиранной рубашке об одной стеклянной пуговке у ворота, и умилился мысли, что при своих-то капиталах он, такой покорный сейчас и незлобивый, все отдал бы – богатство, свою ужасную славу, продажную женскую ласку – в обмен на давнюю невозвратимую ночку детства в стогу, под звездами, которые еще верили ему, любили, стояли хороводом вокруг, подмигивали.

– Чего ж его жалеть, Ваня, лес-то: все одно чужой он, – сказал Кнышев тихо, словно оправдаться хотел. – Думаешь, без меня и не раскрадут ее, Расею-то? Все берут, эва, из-за моря ручищи тянутся. Как же русскому-то близ матушки не поживиться? – Вдруг как бы зарница опахнула его потемневшее лицо. – Не жалей, Ванюха, стегай ее втрое, трать, руби... хлеще вырастет! – Он так и недосказал, колени его разжались: недолго солома горит. – Ладно, ступай, дурачок...

Здесь-то и случилось происшествие, о котором началась речь. На прощанье купец стал втискивать мальчику в ладонь внезапно появившийся четвертной билет, а тот не брал, к удивлению свидетелей, отбивался, словно чувствовал нечистый смысл подарка; тогда Кнышев попытался всунуть его за пазуху Ивану, но и тут не достиг успеха. Даже смешно получалось, что отстегать отечество гораздо легче, чем нищему милостыню всучить... Соппротивление всегда будило в Кнышеве приступ бешеной силы, и неизвестно, чем покончилась бы та потешная сценка, если бы снова не вмешался Афанасий. Он просто зажал в своем огромном кулаке Иванову руку вместе с даянием, да так и вывел племянника из номера... Возможно, случись при этом Александр Яковлевич Грацианский, один его укоризненный взгляд учетверил бы стойкость крестьянского паренька, но по несчастному совпадению обстоятельств суровый вихровский судья был в ту минуту занят освоением чудесного микроскопа, отцовского подарка ко дню рождения.

Впрочем, нельзя и винить его: Александр Яковлевич слышал этот эпизод лишь в самом беглом пересказе, без художественных подробностей. Иначе, минуя рассказанные пустяки, он прямо обратился бы к рассмотрению таинственных пособий в студенческую пору Вихрова... Однако и на этот раз кнышевские деньги послужили для Ивана источником таких ценнейших приобретений, как наилучший в Санкт-Петербурге картуз с лакированным козырьком, не говоря уже о совсем мало ношенном пиджаке, размеры которого обеспечивали запас заплаток вплоть до совершеннолетия. Но прежде всего достойны упоминания выдающиеся сапоги, первые в жизни Ивана и столь скрипучие, что почтительно оглядывались городовые. По утверждению зазывал Апраксина рынка, с подобной внешностью легко было получить должность и в Зимнем дворце.

Последнее оказалось сущим обманом: Ивана взяли всего лишь на дровяной склад, и то в ученье, то есть без жалованья. Зато Агафья сразу нанялась черной кухаркой в тот нарядный, с каменными геркулесами над подъездом дом, где раньше дворничал Афанасий.

## 2

Таким образом, мальчику предстояла вечная молодость личности на побегушках, если бы каким-то кружным путем и с запозданием в два года столкновение его с Кнышевым не стало достоянием гласности. В одном журнальном очерке был описан случай на Облоге, по воле автора превратившийся в героический поединок крестьянского ребенка со знаменитым лесохозяйственником; при этом, для пушного укора отцам отечества, полностью назывались фамилии участников и место действия. В то время передовые люди прилагали немало напрасных усилий сдерживать беспорядочное наступление топора, а хозяин Агафьи был тот самый, скандальный впоследствии, Туляков, читавший курс лесохозяйства в петербургском Лесном институте.

Он выразил желание познакомиться с заступником за русский лес, но, значит, выразил не с достаточной силой, потому что встреча произошла еще полугодом позже после появления статьи – в очередное посещение Ивана. Молодого человека извлекли из-за ситцевой занавески, где мать украдкой кормила его вчерашними хозяйскими щами, и прямоком предоставили в богатый и неуютный кабинет скорее департаментского чиновника, нежели ученого-лесоведа. Перебирая рукописи на громадном столе, Туляков рассеянно выслушал историю разорения Енги; из кнышевских подвигов ему были известны и похлеще, да и сам крестьянский ребенок уже подросток, ему было близ пятнадцати, так что и острота происшествия поприступилась к тому сроку. Но вскоре бесхитростный рассказ Ивана коснулся обстоятельств Матвеевой гибели, дружбы с Калиной и еще – как ребятки благоговейно стояли на коленках у лесного родничка. Мальчик заволновался, впервые в нем пробудился голос будущего депутата лесов... и вдруг как бы весь поверженный Облог втиснулся сюда, в апартаменты лесного вельможи, – громадный слепец в зеленых лохмотьях, бормоча свою зрящую гугнивую жалобу; Иван был только поводыр при нем.

Никогда еще Туляков в такой близости не соприкасался с лесными бедами, о которых за могучими государственными делами всегда забывали жительствующие в столице начальники. Он пристально и сперва не без некоторого раздражения взирал на худенького пришельца, так некстати, казалось бы, среди полного благополучия, напомнившего ему о существовании большой России. К немалой чести профессора, он до такой степени расстроился на Иванову повесть, что даже не заметил следов на дорогом ковре – от разбитых Ивановых сапог. Затем произошел краткий разговор, определивший будущность Вихрова.

– А не приходило тебе в голову, любезный, посвятить себя безраздельно... ну если не научной, то вообще лесной деятельности? – деловито, как у взрослого, спросил Туляков.

Ему пришлось терпеливо разжевать вопрос, прежде чем добился толкового ответа. По счастью, профессор был из умных, понимал, что в конце концов мы никогда не знаем, кому снисходительно дарим пятак на леденцы.

– Оно бы неплохо, барин, да ведь средств наших не хватит... – с дядиной солидностью и подтягивая голенище, отвечал Тулякову крестьянский ребенок.

Видному профессору не составило труда устроить мальчика на полный пансион в известную лесную школу, в Лисино, и по ее окончании отправить юношу в экспедицию с лесохозяйственной партией. Это и было первое основательное ознакомление Ивана Вихрова с положением лесов в России. Ему не удалось побывать в те годы за пределами двух северо-западных губерний, но и по ним можно было постичь, что творится в остальной империи. Всюду, где еще бежали речки сквозь толщу лесов, стук топора стал таким же обычным содержанием тишины, как вечерний благовест, крик петуха, звон бубенца на проселке. Похоже было, что владельцы лесов, напуганные первой революцией, торопились сбыть громоздкое и несправедливое имущество до вступления в права истинного хозяина. Маленькое горе Енги зеркально повторялось в любом уголке России. Юному Вихрову не хватало достаточных знаний предвидеть немину-

емые следствия лесного разгрома, но все чаще рождались в его душе злые вопросы, небезопасные в ту пору царской мести и реакции... Лично для него эти пять лет обошлись без всяких событий, но по возвращении в столицу он в один день узнал как о смерти матери, так и о бесследном исчезновении дяди Афанасия, вздумавшего в числе прочих русских простаков душевно потолковать о наболевших делах с государем императором в крайне неудачное воскресенье девятого января. В темной прихожей у Туляковых Ивану вручили Агафьино наследство в виде дубленого полушубка и почти ненадеванных бареток; кстати, туляковская доха покоилась на вешалке, но сам профессор, видимо считая расчеты с совестью поконченными, даже не удостоил взглянуть на подросшего кухаркина сына. От Таиски не поступало вестей со дня разлуки, так что у Вихрова не оставалось родни на свете, кроме леса, который ничем не мог ему помочь, да еще – народа, не подозревавшего пока о его существовании.

Заработанные деньги истаяли, пока готовился к испытаниям на аттестат зрелости. Кроме того, Лесной институт был на полгода закрыт после студенческих беспорядков 1907 года; не приходилось рассчитывать и на пособие, а безработица тех лет исключала всякую надежду на постоянный заработок. Нечем было платить за чердак на Лиговке, и домовладелица, дородная и одинокая дама, все настойчивее приглашала оголодавшего жильца спуститься с голубятни к ней в гнездышко, где он мог бы более широко пользоваться ее гостеприимством.

Наступала та степень нужды, что зовется в народе непокрытой нищетой, и, пожалуй, сам Александр Яковлевич, всегда отличавшийся изобретательностью, не сумел бы выпутаться из столь сгустившихся затруднений... Тут-то почтальон и принес Вихрову спасительный перевод на двадцать пять рублей с намеренно неграмотной припиской о пожелании успехов на благо русского леса.

Второй такой же поступил только через полтора года, когда в студенте Лесного института начал проступать облик будущего ученого; стремление заступиться за родничок, затоптанный Кнышевым, и плебейская неукротимость в достижение цели уже тогда определяли объем, направление и, следовательно, политическое содержание предстоящей вихровской работы... Если на циферблате детских суток у мальчика Ивана имелось всего три значка – утренний рожок пастуха, обед и возвращение стада, – теперь он покрывался десятками новых; самое мелкое деление было отведено для сна, но шутил Большая Кострома, что Вихров и среди ночи встает подзубрить гербарий. Когда же у него скопилось достаточно сведений для начальных выводов о судьбе русского леса, он принялся искать подтверждающие истины в окрестностях избранной науки. Не оставалось времени давать уроки или чертить иллюминированные планы и сдавать экзамены за богатых лентяев. Собственно, при его отменном мужицком здравии, фунта стародубского хлеба и средней упитанности селедки Вихрову с избытком хватило бы для счастья, но и в половинном размере оно выпадало не всякий день. Обратиться было не к кому; Туляков же просто не узнавал его на лекциях. К этому периоду относятся несколько вполне своевременных, следовавших с месячным перерывом денежных переводов от анонимного благодетеля.

То был снова *четвертной*, в двадцать пять рублей, билет, но теперь что-то безмерно унижительное заключалось в этих подаяниях без единой сопроводительной строки. Повторность и сходство суммы указывали на Кнышева, хотя навряд ли при постоянных разъездах по стране он мог в продолжение восьми лет следить за своим обидчиком и даже своевременно узнавать о его голодовках. Гриша Чередилов, ближайший приятель Вихрова, видел в данном случае происки вдовы, якобы стремившейся с расстояния растопить сердечный лед сбежавшего от нее постояльца. Валерий же Крайнов, также призванный на совет, начисто отрицал вдову и по социальным мотивам сомневался в какой-либо способности Кнышева к благородным движениям сердца; по его мнению, помощь могла исходить только от Саши Грацианского, хорошо осведомленного о нищете товарища и не стеснявшегося в карманных расходах. Когда же, оставшись наедине в дендрологическом кабинете, Вихров попытался благодарить Сашу и

второпях, по-братски поцеловал его куда-то в ухо, тот смутился, но не отрекся сразу, как ему полагалось бы, раз не он, а сперва пролепетал нечто в том роде, что все это, дескать, мелочи среди друзей, после чего заспешил удалиться; получилась досадная, обоюдоострая неловкость. Наиболее вероятным оставался кнышевский вариант, а, судя по почтовому штемпелю на переводе, благотворитель находился как раз в Петербурге... Итак, в лютое январское утро студент второго курса Иван Вихров по внезапному осенению вздумал уточнить свои отношения с российской буржуазией. В понятном ожесточенье, потому что натошак, он спустился на улицу в летнем пальтишке, очень пригодившемся ему для закалки воли и организма, и резво – тогда он еще не хромотал – побежал по мучительно длинной, при таких морозных градусах, Лиговке в адресный стол. В его намерения входило узнать временное местопребывание купца и вернуть ему деньги с произнесением некоторых слов, чтоб избавил впредь от не заслуженных им, Вихровым, благодеяний. Он полагал застать Кнышева в раздражающе богатом халате с кисточками, за сельтерской, а навстречу дул пронизывающий ветер с Невы, а через час Вихрову надлежало быть в другом конце города, в институте. Все это помогло ему подзаострить слова заготовленной благодарности; приводить их даже не полностью нет нужды... Он уже миновал часть пути от Волкова кладбища, поблизости которого квартировал тогда, и уже приближался к Чубарову переулку, где ютились ночлежки, ночные трактиры, портерные и прочее для столичного сброда, как вдруг судьба решилась пощадить здоровье и время молодого человека. Возле *казенки*, так назывались винные лавки в империи, у гнусной стены в скверных потеках и багровых запятых от раздавленных сургучных головок, он увидел пропойцу, сидевшего на тротуаре, повязанного платком, чтоб не мерзла лысина, и с деревяшкой вместо ноги. В рваной шапке меж колен лежали медяки и конфетка в бумажке, что, наверно, уронила какая-нибудь сердобольная школьница, проходившая мимо в свою большую жизнь. Это был Кнышев; то ли поездом его, пьяного, обкорнало, то ли обмерз где... Он не просил милостыни – он вымогал ее самым видом своим. Уцелевший водянистый зрак его был наставлен прямо на морозное солнце и, видимо, не узнавал его, как не узнал бы теперь ни матушки, ни родимой Волги, ни своего отечества, которым причинил столько непоправимого и бессмысленного ущерба. При полной неподвижности левой стороны, правая рука еще не отучилась от прежнего отрывистого движенья, словно подхлестывал кнутиком жизнь в неодолимой жажде поглядеть, что именно находится там, при самом ее конце.

– Бей ее, тычь, наворачивай... – приговаривал он, но постороннему было бы уже не разобратся в его бормотне. – Дави ее, прижаривай, мать честную...

Вся тоска тогдашней русской жизни читалась в его взоре, и Вихров без сожаления перешагнул деревяшку, подобно шлагбауму преграждавшую тротуар.

Из этой встречи вытекало с очевидностью, что в настоящем положении Кнышев не был способен заботиться о нуждающихся студентах. Нет, в ином месте следовало искать виновника чудесного вихровского обогащения, и действительно – не на Балтийском, конечно, заводе да еще в разгар столыпинской расправы, когда мировые суды ломились от дел по выселению рабочих семейств за неплатеж лачужной платы. Таким образом, намек Грацианского на темные вихровские связи до некоторой степени оставался неопровергнутым.

Если уж на то пошло, если бы Александр Яковлевич действительно желал опорочить своего противника, он смог бы привести кое-что и погуше из частной жизни Вихрова – задолго до того, как тот посмел выступить с критикой современного лесного хозяйства. Здесь имеется в виду вступление Вихрова в брак с представительницей не того сословия, какое ему надлежало бы избрать как выходцу из беднейших слоев крестьянства. А чего стоило усыновление внука одного енежского кулака или хотя бы демонстративное участие Вихрова в похоронах своего сомнительного учителя. О, Грацианскому было известно о Вихрове несравненно больше, чем приоткрыл по ходу их знаменитейшей полемики!.. Но самое показательное состояло в том,



что, если бы Вихрову представился случай исправить свои опрометчивые, столь неблагоприятные поступки, этот закоренелый отступник без раздумья повторил бы их...

Однако всему этому предшествует длинная цепь пояснительных обстоятельств.

## 3

Именно к тому петербургскому периоду относится возникновение в Лесном институте частного студенческого братства, куда, кроме Вихрова, входили вышеупомянутые Гриша Чередилов и Валерий Крайнов. Все трое, ни в чем не похожие, они как бы дополняли друг друга, делились всем до нательной рубахи, и, кажется, не было на свете затруднения, что бы помешало любому, в любое время суток, кинуться на выручку товарища. Уже тогда проглядывались будущие склонности каждого из них, исключая разве Чередилова. Сын беспутного костромского дьячка и тоже любитель выпить, он собирался заняться врачеванием ближних, но, по его собственному признанию, прямо с вокзала его, пьяного, отвезли в Лесной институт, откуда он так и не взял назад документы, видя в ошибке извозчика указующий перст providения; он вообще не прочь был повеселить друзей превратностями своей биографии. Старший из всех, Крайнов, принадлежал к разряду вечных студентов, но лишь впоследствии раскрылось, отчего ему не хватало времени для сосредоточенных научных занятий. Один из немногих в ту пору уныния и революционного отступления, он сохранял ясность ума и веру в низовую Россию, владел даром в самом незаметном угадывать признаки наступающего общественного подъема и, таким образом, служил источником бодрости для остальных; через него-то Вихров и понял, что спасения русских лесов надо искать не в добровольном самоограничении помещиков, а в решительном народном перевороте.

Их сперва так и звали в институте *мушкетерами*, пока к тройке не присоединился еще один, самый младший по возрасту, Грацианский, и почему-то звание это закрепилось за ним одним, причем в каком-то неуловимо обидном значении. Впрочем, это двадцать лет спустя у него обнаружили холодные глаза, практическая сметка, смертельная хватка, а в те годы он носил длинные волосы и щегольскую тужурку, знал уйму стихов на память и сам писал плохие, а глаза его ужасно нравились девушкам из хороших семейств. Все трое дарили его искренней привязанностью за разнородные таланты, за всегдашнюю одержимость неосуществимыми идеями, хотя и порицали в нем исключительную подверженность всяким модным ересям, — количеством их определялась тогда степень общественного распада.

Неблагополучной тишиной отмечены эти сумерки советской предыстории. Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге опустела наконец от просителей, бунтовщиков, вооруженного простонародья, и страшно, отвернувшись от замолкших просторов России, глядел ангел с вершины Александрийского столпа. Казенная скука и военно-полевое правосудие стали образом жизни этой несчастной страны. Победители рыскали в поисках побежденных, таких не было. Разгромленная революция не умерла, не притворялась мертвой — она как бы растворилась до времени в безоблачно-суховеином небе. Взрослые защитники русской свободы, не успевшие укрыться в подполье, более глубоком, чем братская могила, в тифу и кандалах брели в каторгу и сибирские поселенья. Оставались дети и подростки — и те, чьих матерей расстреляли девятого января, и те, кто ползком подтаскивал патроны на Пресне или прятал за пазухой отцовские прокламации; надо было ждать, пока смена освоит отцовский опыт восстания. И когда живое покинуло поле великой битвы, над ним закружились призраки. То была пестрая круговерть тления, предательства, противоестественных пороков, которыми слабые восполняют природные немощи мысли и тела. В ней участвовали недотыкомки, андрогины, зверобоги, коловертыши, прославлявшие Ницше, Иуду и Чезаре Борджиа, бледные упыри в пажеских мундирах, сектантские изуверы с пламенеющими губами, какие-то двенадцать королевен, танцевавшие без рубашек до радужной ряби в глазах, отставные ганноверские принцы, апокалипсический монах, гулявший по Невскому в веригах и с пудовой просфорой на груди, загадочные баронессы в масках и вовсе без ничего, мэки, призывавшие интеллигенцию к братанью с буржуазией, анархисты с дозволения полиции и еще многое, вовсе утратившее признаки чести, наци-

ональности, даже пола. Все это, ночное, таяло при свете дня, не оставляя ни следа, ни тени на отечестве, по которому вторично от начала века проходил насквозь царь-голод.

– Мертвое царство, мертвое... – мимоходом однажды, за фенологической работой, заметил Вихров своему другу Валерию Крайнову. – А тянет меня, старина, обойти это непаханное полюшко, покоптиться с лесорубами у костерка, потолкаться среди стариков на ярмарках, послушать подспудную думку России. Ну, брат, и зимища застала нас...

Разговор происходил в дендрарии института, возле мелкоплодной пенсильванской вишни; красноватая атласная кора просвечивала на стволе сквозь шелуху, колеблемую ледяным ветерочком. Не удавалась в тот год весна, метель то и дело забивала распускание природы.

– Не бойся, Иван, наступившего затишья... Это копится энергия в нашем обществе. Приложи руки к его полюсам, и тебя убьет на месте разность потенциалов. И ты не на сугробы, ты сюда смотри, – отвечал Валерий и, вскрыв ножом набухшую, пока наглухо закрытую почку, показал в зеленой мякоти пусть еще не цветы, но уже по окраске различимое – предвестие близкого цветенья. – Так было и *прошлой* весной, шесть лет назад... помнишь? Теперь представь, что будет, если дважды, с небольшим промежутком сбрызнуть все это теплым дождичком...

Что-то вещее было в его усмешке, а случившийся при том Грацианский припомнил ее месяцев через семь, когда одна за другой вспыхнули первые стачки на Невском судостроительном и на Вознесенской мануфактуре.

... Кроме исключительной памяти, этот одаренный юноша вообще отличался пытливым умом и до некоторой степени, подобно Вихрову, жадному на любое знание, искал истины во всех попадавшихся ему колодцах. При такой широте запросов, политических и духовных, Саша Грацианский еще в гимназии чтение Маркса и Бернштейна искусно сочетал с глубоким интересом к Ницше, Максу Штирнеру и даже Рамачараке, так что впоследствии не только умел по системе йогов дышать через одну ноздрю, но и сам изобретал способы социального устройства рода человеческого, заботясь о том, чтобы как-нибудь в суматохе не запамятовал он Сашу Грацианского. Нынешнее, суровое и столь возвысившее его в глазах современников призвание лесного судьи далось ему лишь после мучительных исканий. Уже по получении диплома он попеременно пробовал свои силы то в роли экономиста, то литератора, то историка, наконец... причем по окончании гражданской войны усердно изучал уцелевшие от погрома архивы санкт-петербургского охранного отделения, но дельной книжки о революционных течениях среди молодежи тех лет из-под его пера так и не вышло. Вообще представлялось странным его поступление в Лесной институт, одно из самых демократических учебных заведений, куда шли либо по наследственной склонности дети лесных тружеников, либо яростные любители охоты и родной природы. Выбор карьеры объяснялся врожденной Сашиной слабогрудостью и настоянием матери, деспотически властной дамы, чтобы трудовая деятельность сына протекала в спокойной санаторной обстановке.

Сашина мама представляла собою черненькое, надменное, на редкость малоразговорчивое существо, перламутровой лорнеткой прикрывавшее чуть приметную косинку. Когда по пятницам, обычно без Крайнова, молодежь собиралась у Грацианских на благополучной Сергиевской улице, Чередилову доставляло удовольствие говорить ей невинные дерзости, смягченные простодушием незаурядной русской силы; так, однажды он кротко попросил у ней лорнеточку, чтобы ее глазами обозреть сей ничтожный окружающий мир. Озорнику и забияке, ему в ту пору не очень нравилась эта уютная барская квартирка, с мерцаньем зеленоватых торшерных ламп на коврах, – причем лица и мысли оставались в тени! – с декадентскими водорослями на бархатных портъерах и уставленная развесистыми пальмами, меж которых с ловкостью золотых рыбок сновали сочные, неслышные горничные. Вообще говоря, это был несколько скуповатый дом, и угощение там подавали довольно скудное, зато в самой изысканной сервировке. Саше давно хотелось залучить на свои сборища и Крайнова – скорее из тщеславия,

однако, чем уважения, потому что чутьем балованного барчука угадывал под его беспечной оболочкой какую-то жгучую и враждебную ему народную правду. По удачному совпадению, визит Крайнова пришелся на Сашины именины, когда один из гостей в пылу пустячной ссоры проговорился о существовании подпольно-межпартийной организации среди учащихся, возглавляемой Сашей и носящей явно подражательное название *Молодой России*.

Главных участников того примечательного столкновения неделей раньше перепознакомил сам Грацианский на празднике воздухоплавания, происходившем в начале сентября 1910 года. Скужающая петербургская знать заполнила трибуны Коломязского ипподрома в надежде на какое-нибудь чрезвычайное происшествие, да еще тысяч десять самовольных зрителей разместилось по ту сторону забора, прямо на траве или же на извозчичьих пролетках, чтобы на худой конец поспешно ускакать от неосторожно падающего пилота. Программа шла довольно гладко, и вначале публику очень поразвлек пожилой и видный адвокат, который сперва задумал победить воздушную стихию на русском монгольфьере системы господина Древицкого, но потом, осознав безумность своего предприятия, стал кричать и биться в подвесной корзине... Вслед за тем наиболее видные *летуны* столицы стали проделывать над собравшейся публикой опасные воздушные эволюции на головокружительной высоте, иногда не в одну сотню сажен. Ближе к вечеру должен был показать свое мастерство бывший корабельный инженер и тоже выдающийся авиатор своего времени капитан Мациевич... В перерыве мушкетерская тройка отправилась посмотреть стоявшее на скаковой дорожке чудесное изобретение человеческого разума, аэроплан, представлявшее собою две соединенные стойками и растяжками парусиновые плоскости с железной машиной посреди и на устойчивых, велосипедного образца колесиках. Тут-то Грацианский и подвел к товарищам тоненькую, в соломенной шляпе, девушку, не спускавшую с него послушных и влюбленных глаз, Наташу Золотинскую, а через минуту рядом с ними как-то оказался и другой Сашин приятель – с квадратной, низко присаженной головой, хмурый, вроде недовольный то ли мирозданием, то ли собственной своей прыщавой россыпью на лице, назвавшийся студентом Психоневрологического института Слезневым. Личность эта показалась знакомой Крайнову, но самые обстоятельства первого столкновения с ней он вспомнил лишь несколько дней спустя... Вот когда и сбегал Вихров за мороженым на всю компанию.

Вскоре молодых людей оттеснили назад ради высокопоставленного лысоватого полковника, подошедшего в сопровождении свитского генерала и неотлучных ингушей императорской охраны. Опершись о палаш, великий князь любознательно расспрашивал авиатора, можно ли простудиться в полете, за какие снасти держался гофмейстер Столыпин, когда именно с Мациевичем летал два дня назад, и вообще какая сила способна поднять на воздух эту железную, с позволения сказать, карамору в несколько пудов весом, не считая груза в виде самих смельчаков. Видимо, его тоже подмывало полюбоваться на Петербург из поднебесья, но несколько опасался осиротить Россию; впрочем, каждый благополучный полет той поры лишний раз подтверждал существование провидения... Все это время Крайнов иронически вслушивался в происходившую беседу, а Слезнев, в свою очередь, из-под приспущенных век с низменным почтением наблюдал за поведением Крайнова.

– Чего это вы на меня устались, изучаете по своей... психомедицинской специальности? – весело, полуобернувшись, спросил Крайнов.

– Нет, я вообще люблю открытые, без утайки, русские лица, – нахально улыбнулся тот и стал холеным ногтем мизинца снимать соринку, приставшую к мороженому на вафле.

Гул оваций сразу утих, когда летательный аппарат, подпрыгивая, побежал по траве, а минут через пять и зрители за забором увидели отважного капитана, мчавшегося в синеве вечеряющего неба со скоростью не менее семидесяти верст в час. Уже целых пять минут находился он в воздухе и, казалось, забыл про землю; вот и смерклось, и уже грохнула сигнальная пушка, возвещающая конец состязаний, но авиатор забирался все дальше в гаснущую высь, – как все сразу разгадали, на приз высоты. Никто не понял вначале, что происходит, когда черное

пятнышко отделилось от самолета и, увеличиваясь, пошло вниз. Потом с трибун и сквозь проломы в заборе сотни людей ринулись к месту происшествия, наши студенты в том числе... однако, пока протискивались сквозь цепь городских, тело Мациевича успели отнести в санитарную карету; только длинный, вдавленный отпечаток на земле да оторванный капитанский погон обозначали место падения. В наступившей тишине слышно было, как кричала вдова и по-бабьи всхлипывал бородатый комендант поля. Крайнов снял фуражку, его примеру последовали другие.

Молодые люди молча пошли назад. Холодало по-осеннему, и, помнится, Грацианский накинул свою тужурку на дрожавшие Наташины плечи. К ночи снова ожидался ранний заморозок.

– А небо-то, небо-то какое над Россией, – вполголоса обронил Вихров, шагая рядом с Валерием. – Сколько же оно несчастий повидало на этой земле, а, гляди, будто ничего и не было!

Валерий поднял глаза. Действительно, небо было безветренное, безжалостной красоты и какого-то кроткого цвета, только нижний край его, по образному сравнению Саши Грацианского, пылал и плавился, как цыганский платок у костра.

– Что ж, вполне отличное небо, – так же тихо согласился Валерий. – К такому да прибавить бы справедливые законы, да всеобщую грамотность, да побольше денег на науку, чтобы не разбивались смелейшие наши, да сюда бы еще хорошие дороги, да водки меньше, да чтоб женщин не били смертным боем... не было бы неба на свете краше нашего!

– Вы упускаете главное, Крайнов, без чего немыслимо все остальное, – непримиримо распалился Слезнев, шагавший в шеренге со всеми. – Не забывайте про тех, кто целое столетие убивал лучших русских людей... Вот они, рассеявшиеся на ступеньках царского трона. На рогаину их надо, братцы мои, на рогаину... – и, наугад выхватывая из расходящейся толпы, почти с пеной на губах показывал то на молодцовато-бодрого генерала от кавалерии Сухомлинова, то на сухопарого конногвардейца Врангеля, то на случайно оказавшегося в поле зрения японского гостя, принца Токугава, прямо с поезда прибывшего на полеты.

– Боже, как ты неосторожен, Виктор! – оборвал его Грацианский. – Ведь мы же не одни здесь.

Валерий молчал. Возможно, занятый своим раздумьем, он и впрямь не расслышал слезневской, на него и рассчитанной истерики. В перспективе десятилетий ему живо представилась лестница крылатой русской славы, где каждая ступенька обагрена кровью героя, и – «если бы хоть глазком могли они заглянуть в завоеванное небо будущего, куда отважно бросались в разведку на своих смертельных этажерках». Кажется, Слезнев и сам раскаялся в допущенной оплошности и, кидаясь в другую сторону, предложил поужинать всей компанией на Виллароде, что у Строганова моста, или, еще лучше, в Белью, где имелся шикарный кегельбан... «раз уж все равно вечерок испорчен», – как скверно соскочило у него с языка. Предложение явно относилось к Валерию, но тот вторично промолчал, и Слезнев сконфуженно перевел глаза на крайновского соседа. Вихров сухо указал ему на неприличность его тона в связи с трагической гибелью русского авиатора и за обоих отказался от приглашения, сославшись на отсутствие времени и денег.

– Ну, касательно второго – дело поправимое. Сколько вам нужно? – засмеялся Слезнев, прикинувшись, будто достает бумажник.

– Не знаю, как вы добываете деньги, я свои – трудом, – сказал Вихров.

– Зря... На вашем месте я бы выучился играть в макао. При известном навыке, хе-хе, это дает неплохой доход.

Испуганная Наташа замахала руками, а Вихров с белыми губами двинулся на психоневролога, и, наверно, завтрашний дневник происшествий пополнился бы еще одним событием, если бы не вмешался Чередилов. Попридержав Вихрова за рукав, он в общедоступной форме

довел до слезневского сведения, что отец господина Вихрова убил человека и что рискованно пробуждать в его сыне дурную наследственность.

Они разошлись, не попрощавшись.

## 4

Приблизительно через неделю, в очередную пятницу, скандал повторился по другому поводу, на очередном сборище у Грацианских, как раз в присутствии Крайнова, уступившего настоятельным Сашиним просьбам. Однако, вопреки своему обещанию не звать посторонних и, надо думать, с целью примиренья, Саша пригласил на свои именины и Слезнева. Кроме других уже известных лиц, здесь еще находились две тощих, будто промаринованных острыми специями курсистки, обе – Ньюши, беленькая и рыженькая, один крайне сосредоточенный толстячок лет семнадцати в гимназическом мундирчике щегольского офицерского сукна, чем то похожий на шоколадную бутылочку, стремящуюся выглядеть как динамитный снаряд, – еще там кое кто и, наконец, видный, выдающийся по грузности петербургский богоискатель Аквилонов, весь вечер усиленно налегавший на копченого сига. По случаю торжества стол в тот вечер был особенно наряден, хоть и постный; в доме до такой степени соблюдались постные дни, что даже глава семьи, впервые спустившийся со своих высот к молодежи, чем-то напомнил большую снулую рыбину, только в сюртуке. По свежим впечатлениям разговор коснулся похорон Мациевича, вылившихся в громадную двухсоттысячную уличную демонстрацию, и – через бессмертную славу покойного героя – перекинулся на личное бессмертие души.

Профессор канонического права настолько пространно, с привлечением текстов из Оригена и Августина, излагал свою точку зрения, что гости стали тревожно переглядываться, пока Сашина мать не намекнула мужу, что и другие хотели бы высказаться по затронутому вопросу.

Ближайшим к хозяину оказался Вихров, ему и предоставили право первого возраженья.

– Как биологу, мне не приходится прибегать к таким гипотезам, как мнимая вечность отдельной личности, – смущенно начал Вихров, – даже если бы они еще более возвышали человека в наших глазах. Полагаю, если не очень мешать ему, он и сам, подвигами труда и мысли, добьется подобающего ему величия. Во всяком случае, моя наука учит меня, что все живые организмы умирают прочно. Природа – слишком ревнивая и скупая любовница, чтоб отпускать своих любимцев в некий потусторонний мир, где нет ее самой и куда не простираются ее законы. Кроме того, будучи выходцем из грубого крестьянского сословия, я, признаться, не владею достаточным воображением, чтоб представить себе кусок отвлеченного пространства под названием, скажем, землемер Иванов. Если же он не занимает места, то что он? – Здесь Вихрову почему-то вспомнился Калина, его неомраченная улыбка перед неизбежным, его готовность пойти на любой переплав, потому что в том-то и состоит справедливость природы, чтобы *все* побывало *всем*. По словам Вихрова, смешные притязанья на загробное бытие свойственны главным образом тем, кто ничем иным, героическим или в должной мере полезным, не сумел закрепить в памяти живых, что единственно и может являться настоящим бессмертием. – Нет, не верю!.. и никогда потом не вспыхнет проблеск твоего сознания хотя бы в шелесте кладбищенской травы, И это тоже хорошо, иначе сообщенная душе старая телесная память о былых неудачах и разочарованиях тормозила бы порывы и свершенья молодости. Материя забывчива, и ничто не помнит на земле, чем и *как* оно было раньше. И это не менее замечательно, так как внушает человеку особую ответственность за врученные ему дары ума и воли... Поэтому чем бесследнее исчезновение, тем дороже каждая крупинка бытия. Вот вы помянули давеча, профессор, о грехе неверия, – закончил Вихров, обращаясь к хозяину, – а по-моему, нет черней греха, чем пролить бесполезно хоть росинку жизни в такой пустыне... в такой, я говорю, пустыне, как наша. Таким образом!

Все одобрительно помолчали. Аквилонов укоризненно поглядел на костяной каркас окончившегося сига.

– Давно когда-то, в вашем благоутешительном возрасте, я и сам держался приблизительно тех же убеждений. Что же, помните у Горация: *Dulce est decipere in loco*!<sup>1</sup> – сочувственно вздохнул ученый богослов и, минуя сидевших посреди, сразу обратился к Крайнову: – Было бы крайне заманчиво обогатиться и вашим суждением, господин... Простите!

– Да Краевский же... ты стареешь на моих глазах, Яков! – покрываясь пятнами, еле слышно подсказала жена.

По всем признакам, родители достаточно наслышались от сына про этого загадочного гостя, и теперь всем не терпелось проверить восторженные Сашины оценки. Тот, однако, молча поглаживал складку скатерти, и тогда Саша Грацианский всунул в образовавшуюся паузу собственную теорийку, согласно которой человек при рождении ничем не отличается от животного, но повседневным упражнением в молитве, творчеством или частым созерцанием божества выращивает и умножает тело своей души, откуда с наглядностью следует, что посмертное долголетие особи прямо пропорционально количеству проделанной ею над собой морально-нравственной работы. Следовательно, Саша уже в то время ограничивал загробный пантеон избранным кругом лиц, владеющих рентой для подобного рода занятий. Аквилонов заметно оживился, зато обе Ньюши, обе плебейского происхождения, немедленно ошибались бестактную, да еще в присутствии горничных, выходку своего предводителя.

– Знаешь ли, отче, поведал бы ты нам лучше, что за рояль ты там изобрел... кажется, для цветковых симфоний? – насмешливо вставил Чередилов. – Страсть обожаю, под надлежащий харч, вникать в биенье твоей жгучей, неугомонной мысли.

– Нет уж, давайте подвинем рояль в конец повестки, а пока подвыясним кое-что насчет бессмертия, – сверляще заявил Слезнев, все это время демонстративно листавший альбом семейных фотографий. – Итак, мы слушаем вас, Крайнов, если только обсуждение этой темы... – и улыбнулся гниловато и заискивающе, – если оно совместимо с вашим марксистским достоинством!

Все замолкли, обе Ньюши не менее чем на десять сантиметров вытянули шеи, гимназист прокашлялся, главным образом чтобы заявить как-нибудь о своем присутствии.

– Я не знаток в делах загробных, – сказал Валерий Крайнов, – я собираюсь заниматься всего лишь лесом, весьма подзапущенным русским лесом, но, что ж... о чем только не шумят во время чумы! – Это не было отвлеченным намеком на состояние умов в империи; действительно, в тот месяц имелись вспышки холеры и чумы в столице, но все правильно поняли и чуму и русский лес в самом расширенном толкованье. – Мой коллега уже объяснил, что основными условиями жизни являются движение, развитие и смена, то есть неперемнная смерть, которой подчинено все... в том числе и личная память наша. Собственно, в этом и весь мой ответ, потому что смысл вашей веры в бессмертие заключается в притязанье слабых людей сохранить от распада личную память... которая есть, с вашего позволения, архив моего ума, то есть я. Обезличенное же посмертное состояние подчинено общим законам сохранения энергии... так? – спросил он у вздрогнувшего Аквилонова, который мирно доламывал второго сига... – А раз так, то рассматриваемый предмет, память, как и все прочее в классовом обществе, окрашивается социальной принадлежностью. У богатых жажда бессмертия выражается в стремлении продлить воспоминанья о благоустроенной квартире, о хорошо оплачиваемой, хотя зачастую и бесполезной должности, даже о копченом сиге в сочетанье, скажем... – он неторопливо справился с ярлыком стоявшей перед ним бутылки, – в сочетанье, я говорю, с отличным красным винцом Сент-Эмильон. При этом неограниченный запас времени у покойников допускает многократное повторенье всей программы без всяких дополнительных расходов. У бедняков же эта идея выражена в более скромной надежде, что их земные горестные переживанья если и повторятся, то в несколько исправленной редакции. Я полагаю, мы все

---

<sup>1</sup> Приятно подурочиться в свое время! (*лат*)



сойдемся на том, что было бы жестокостью еще разок повторить им сеанс земных переживаний!.. Вместе с тем вполне понятно стремление бедных продлить себя в потустороннем царстве: ведь призраки не боятся городских, не зависят от эксплуататора, не нуждаются в хлебе, одежде и жилье. И, наконец, у восточных народов, забитых колониальным кнутом и тысячетлетней нищетою, вера эта вылилась в религиях абсолютного небытия... Им вспомнить вовсе нечего: память – проклятие для них. Представляете себе, – спросил Валерий, обводя взглядом свою затихшую аудиторию, – как нужно терзать человека, чтоб ему захотелось удрать из жизни в ничто? Примечательно, кстати, что самые могучие вероучители не смогли придумать такого ассортимента райских блаженств, какие были бы недоступны на земле... Именно поэтому долг людей образованных и честных – убедить всех тружеников, что не стоит ради исправления своего материального состояния пускаться в такие мучительные превращения, когда все радости жизни находятся буквально под рукой... стоит лишь протянуть ее поэнергичней! Словом, господа, вам выгоднее согласиться со мною... потому что вера в личное бессмертие означает веру в бога, а людям ваших профессий было бы не к лицу признать, на основании самых неустрашимых признаков, что бог ленив, равнодушен и зол... не правда ли?

Тут Валерий приветливо улыбнулся хозяйке, которая нервно постукивала лорнеткой о край стола.

– Виноват, против каких же столь неприятных повторных впечатлений бытия у людей необеспеченных, э... направлены ваши возражения, господин Краевский? – с необъятной скорбью в голосе спросил профессор канонического права.

– Главным образом против тех, – мирно отвечал Валерий, – чтобы вторично мерли с голодухи волжские мужики, или с деревьев Александровского сада сыпались подстреленные ребяташки, как это случилось у нас в Петербурге девятого января, или, скажем, чтобы палач вторично надевал петлю на Александра Ульянова. Подобные явления и в загробном мире неминуемо привели бы к восстанию призраков... поэтому давайте уж поразумней устраиваться на этом свете, господа!

И сразу тишина напряженного внимания сменилась тишиною замешательства. Такое вступление не сулило тихих семейных радостей, и Сашина мать даже предложила гостям поиграть в лото, – действительно, однако же с возможной мягкостью, так как именно с этими людьми ее сыну предстояло жить и работать в будущем. Ее призыв остался без отклика, и сперва незаметно исчез Аквилон, хотя еще один непочатый сиг имелся в запасе на столе, а вслед за ним удалились и Сашины родители под благовидным предлогом не стеснять нашу милую и пытливую молодежь... Тогда-то, шумно отодвинув стул, потребовал слова Слезнев.

Прежде всего он высказал неудовольствие по поводу развязной и, как ему казалось, политически незаостренной речи Крайнова. По его мнению, русские достаточно растратили времени на бесполезные рассуждения о пользе грамоты и вреде клопов, и оттого пора переходить к решительным действиям, то есть к прямому захвату власти в России. По примеру Катона Старшего, он не устал при любой okazji твердить одно и то же по поводу императорского Карфагена.

– Разумеется, точка зрения зависит от темперамента, господин Крайнов... и мне не очень понравилась ваша высокомерная усмешка еще в прошлый раз, в Коломьягах, когда я в вашем присутствии действительно неосторожно выразился... ну, вы помните насчет чего! Поэтому я и дивлюсь, что именно *вы*, как партия, присваиваете себе исключительное право заботиться о благе народа, как если бы все остальные желали ему зла.

– Мы не отрицаем сего, о дубе младый, – в обычном своем дьячковском стиле выступил Чередилов, – не отрицаем, что и другие жаждут ему преуспеваний... и чтобы церковноприходские школы везде, музеи восковых фигур, театры там, анатомические и прочие. И другие жаждут, чтобы всем было хорошо, но чтобы им самим, поелику возможно, сытней и лучше... именно за то, что сами они такие благодородные!

– Не имею желания состязаться с вами в клоунаде, господин Длинная Кострома... или как вас там?... да это и не важно, – с каким-то хрустящим вызовом продолжал оратор. – Между тем в речи вашей, господин Крайнов, мне послышались обидные и незаслуженные намеки в адрес главы дома, где мы сидим сейчас, поглощая ценную и интеллигентную пищу. На правах старого Сашина друга я настоятельно приглашаю вас, Крайнов, либо вслух извиниться, либо уточнить свое отношение к его отцу.

– Давайте лучше уж в лото сразимся... – весь пылая, взмолился молодой Грацианский.

– Не мешай, Александр, речь идет об элементарных приличиях, – отмахнувшись, взрывчато продолжал Слезнев. – А между тем в этих гостеприимных стенах, да будет вам известно, господин Крайнов, второй год собирается подпольная, ученическая организация... и в настоящее время вы имеете честь видеть ее центральный комитет! – Он сухо и разбористо отчеканил ее название, которое лишь тридцать один год спустя снова выступило из потемок истории. – В противовес другим партиям, которые топчутся на месте и даже держат в царской Думе своих представителей, – мы ставим целью немедленное свержение самодержавия... и пускай это начнется с умерщвления династии! Мы за честную русскую плаху, но... рассчитываем, конечно, на вашу скромность и неболтливость, Крайнов. Я кончил... передаю вам слово!

Он стал закуривать в таком припадке ожесточения, что из десятка спичек у него не загорелась ни одна.

Поражение революции 1905 года породило распад и разложение в среде попутчиков революции. Валерию ясно было, что организация столь наивного в ту пору профиля была лишь шлаком и накипью общественного отчаянья: всегда после отлива большой бури что-нибудь живое корчится на берегу. Судя по всему, подпольное сообщество Слезнева – Грацианского состояло из дюжины-другой школьных заговорщиков, без участия рабочей молодежи, но с обломками разбитых, неустойчивых партий; можно было заранее предсказать ему скорый и бесславный конец.

– И много вас? – не поднимая головы, поинтересовался Валерий.

– Это не имеет значения, – как на баррикаду, вырвалась вперед рыженькая Нюша. – Один идейный солдат стоит роты полицейского сброда.

– О, так это вполне серьезно? – с той же откровенной печалью продолжал Валерий. – Наверно, вы запасли и динамиту с фунт-другой, шрифта горстей десятков и даже аршинный кинжал, смазанный синеродистым калием?

– Не смейтесь над нами, Крайнов. Пускай мы еще не так опытни, как вы, зато не страшимся ни кандалов, ни петропавловских казематов... и вы еще услышите о нас! – со сверкающими глазами, как в клятве, пообещалась Наташа Золотинская. – Есть на свете оружие пострашней и динамита...

Вслед за тем с высоко поднятыми бровями привстал гимназист, разглядывая простой железный перстень на мизинце и как бы подчеркивая, что не ради личных выгод, а в высшей степени наоборот кинулся он в пучину революции.

– Моя фамилия Казачихин, и я тоже уполномочен заявить от лица... от лица... – Намереваясь высказать самые незаурядные мысли, он обдернул было свой мундирчик и уже взъерошил перстами волосы, но внезапно потерял голос, кашлянул со странным писком, словно из раскупоренной шоколадной бутылочки воздух вышел, залился краской, с маху опустошил недопитый аквилоновский бокал и сел.

При всем том они с цыплячьим виноватым восторгом поглядывали на Валерия, вряд ли только из уважения к его очевидному старшинству или к сопровождавшему его ореолу таинственности, преувеличенному Сашиней болтливостью, а скорее по тому безоговорочному восхищению, с каким юность угадывает прямую, честную и веселую силу. И ждали, нетерпеливо ждали его высшего суда и если не зова, то хотя бы маленького одобренья, но Валерий молчал, будто его это не касалось.

– Теперь, – вызываяще и при совершенно тусклых глазах возгласил Слезнев, раздвигая посуду на столе, – теперь, когда мы начисто открыли свои цели и даже место наших сходов... когда вы приняли наше доверие и не покинули нас своевременно, а вместо того порешились на дополнительные расспросы... теперь мы вправе спросить и у вас, что вы сделали для революции и кто вы такой – максималист, большевик... или, случайно, не из анархистов? Ну-ка, подымайте свое забрало, Крайнов... – И вдруг не то чтоб побледнел, а как-то обмяк под насмешливым взглядом противника.

Помнится, всех тогда озадачил двусмысленный ответ Валерия, что он испытывает бессилие удовлетворить суровую слезневскую любознательность, так как, к сожалению, не знает за собой подвигов, достойных хотя бы беглого упоминания или полицейской кары, но зато, – он пошурился на противника, – и общественного разоблачения. С одной стороны, Валерию и жалко было этих обреченных юнцов, а с другой – хотелось построже выяснить у Саши Грацианского историю возникновения его организации. Валерий и еще произнес что то шутливое и незначашее, а сам все шарил в памяти, и тут, словно фонариком подсветили, вспомнил первомайскую загородную массовку 1909 года в лесной заросли за Старо-Парголово-ским проспектом. В тот раз после короткого крайновского вступления о путях и средствах к освобождению русского рабочего класса выступил с возражениями какой-то осатанелый анархист, теми же словами, что и Слезнев теперь, упрекавший большевиков в отсутствии политического темперамента; кстати, делал он это так громко, словно хотел довести свою тираду до сведения если не всего земного шара, то по меньшей мере – шпика, бродившего поблизости. Но маевка происходила ночью, и тот оратор был в пенсне, да и волос на том вроде погуще имелось, а одного сходства интонаций было недостаточно для установления тождества двух этих лиц. Но чем больше прояснялись перечисленные подробности, тем меньше становилось Слезнева: он как бы усыхал на глазах и, верно, испарился бы вовсе, если бы сам же, очень искусно, не повернул разговора на тот пресловутый, Сашин, цветовой рояль. Из самолюбия ли, или желая выручить приятеля из неловкости, Саша сам, без понуждения рассказал, каким образом клавиши соединяются с цветными прожекторами, экраном же служит любая снеговая гора, вокруг которой и размещаются избранные зрители. Лесные мушкетеры загадочно похмыкали и вскоре ушли все разом. Тогда-то на улице и под проливным дождем, как только Валерий распрощался с друзьями, Слезнев внезапно вынырнул к нему из-за угла.

– Одну минутку, я прошу у вас всего одну минутку... – униженно забормотал он, чтоб разъяснить свои позиции. – Вы дурно поняли мой давешний неосторожный вызов, и я должен опровергнуть ваши невысказанные подозрения, которые, именно поэтому, мне оскорбительней плевка...

– Ступайте, – не оборачиваясь, сквозь зубы бросил Валерий, – а то я сделаю вам больно.

Он перешел улицу, но Слезнев следовал за ним, на расстояние чуть больше, чем возможный взмах руки.

– Пусть я пока ничтожен, как всякий лишь вступающий на поприще революции... и я не хочу вам лгать, что полюбил вас навечно... потому что мы разных тактических убеждений, но ведь это не должно препятствовать хотя бы взаимному нашему уважению перед лицом общего врага? Я даже не набиваюсь на ответ, но прошу у вас всего одной минутки...

Соблазнившись послушать, какими сведениями располагает о нем Слезнев, Валерий остановился и стал закуривать, а тот немедленно понял это как позволение продолжить разговор.

– Я с вами как на духу! Ходят слухи, что еще в девятьсот пятом вы входили в известное общество *лесных братьев* на Мотовилихе... – мелькнуло, как зернышки на птичьей приваде, сыпал Слезнев. – Ох и дали же вы *им* жару в тот раз! А по другой версии, и стычка с казаками на Васильевском острове... помните, у завода Шиффа?.. тоже не обошлась без вашего участия: ишь где-то височек вам повредили, не иначе как в рукопашной! Однако же никакое матери-

альное тело не может находиться одновременно в двух местах, верно?.. и я вовсе не спрашиваю, как это случилось... но это же поистине гениально, и мне только хотелось высказать вам мое... ну, просто животное преклонение перед человеком, который...

– Вам лучше уйти заблаговременно, Слезнев, – угрожающе повторил Валерий, глядя на вскипавшие под ногами зеленоватые пузыри дождя; разговор происходил возле магазинной витрины с освещенными на просвет цветными стеклянными шарами, по каким в ту эпоху издали узнавались аптеки.

– И опять же все это недоразумение у Грацианских получилось не из стремления секреты ваши выудить, а, право же, скорей по младенчеству... Нам равенство хотелось подчеркнуть и независимость сторон, чтоб вы не подумали, будто мы... ну, маленькие, что ли, и боимся вас. Нельзя принимать это как обиду... напротив, я в любую минуту готов пожать вам руку, потому что...

Воодушевленный молчанием собеседника, он даже прикоснулся легонько к рукаву его пальто, и на сей раз Валерий уже не удержался от искушения исполнить свою начальную угрозу, после чего вторично перешел улицу.

## 5

Если только нарочно воду не мутил, оба слезневских предположения о местопребывании Валерия в годы революции были неверны; на этот счет у Валерия имелся надежный *железный* паспорт, как это называлось тогда. Однако по положению пропагандиста ему нередко приходилось бывать на рабочих окраинах, и полицейские наблюдатели могли составить приблизительное мнение о его принадлежности к левому крылу РСДРП... Значит, подозревали наличие повода для привлечения его прямо по пункту первому сто второй статьи, каравшей военным судом за попытку к ниспровержению царского строя.

В ту эпоху большевики боролись за сохранение и укрепление нелегальных партийных организаций. Будничная разъяснительная работа велась везде, откуда слово правды могло вырваться на простор народной молвы, – от трибуны Таврического дворца до кружков самообразования, страховых касс и студенческих землячеств. Однако Валерий заинтересовался *Молодой Россией* Грацианского не из стремления прибрать ее к рукам, как кричал о том ужасно разобидевшийся на него за пощечину Слезнев... и не потому только заинтересовался, что пожалел Казачихина с Наташей, шедших напрямик если не к виселице пока, то в объятия нового Азефа из Психоневрологического института; к слову, Валерий так и не узнал, что при техническом организаторе дела, Слезневе, Саша Грацианский играл в нем роль вдохновителя и идеолога. Но ему стало известно, что с помощью своей нечистой аферы Слезнев уже пытался проникнуть в рабочие марксистские организации. В последующей беседе, через несколько дней после скандала на Сергиевской, Саша Грацианский подтвердил, что Слезнев уже побывал у молодых печатников в Экспедиции заготовления государственных бумаг, и тогда Валерий принял предупредительные меры, чтоб пресечь влияние врага на рабочую молодежь.

Между прочим, Грацианский держался крайне заносчиво в том разговоре, происходившем в отсутствие Чередилова. Однако Вихрову удалось вызвать Сашу на запальчивую откровенность, приоткрывшую секрет новоизобретенного им и якобы неотразимого политического оружия. Оно носило наименование *миметизма*, в данном применении – притворства, то есть готовности идти на работу в любые царские, даже полицейские учреждения, чтобы доведением вражеских методов до абсурдной крайности взрывать их изнутри. Саша проговорился при этом, что великие цели стоят своих жертв, человеческих в том числе.

Вихров такими глазами поглядел на этого элегантного зеленоглазого мальчика и всеобщего любимца, словно рога отросли на нем.

– Позволь, мил человек... но ведь для того, чтобы *они* вашему брату, притворяшкам, поверили... вам понадобится и выдать им кого-то? – растерянно спросил он.

– Что ж!.. К сожалению, мы не обладаем таким гражданским терпением, как иные... глядеть на мерзости и дожидаться, пока *это* осуществится мирным способом, – холодно отвечал Саша Грацианский. – Любое святое дело скрепляется кровью мучеников...

– Но для этого полагается заручиться предварительным согласием самих мучеников, – усмехнулся Вихров. – В таком случае... кто же у вас намечает кандидатуры... вы ли, господин Грацианский, или сам Слезнев?

Саша еще молчал, но уже как бы шарил щелку вокруг себя, размером хоть в горошину: уйти. Тогда Вихров жарко высказался в том смысле, что рассматривает эту дьявольскую махинацию как последнюю степень душевного растления, что подобные вещи не забываются и посмертно, что только щенок безглазый мог попасть в такую нехитрую вражескую западню... И хотя, помнится, произнес при этом некоторые слова, выражавшие степень его гадливости, все же и тогда считал Сашу скорее жертвой, чем виновником.

– И как далеко продвинулось у вас *там* это дело? – очень тихо спросил все время молчавший Валерий. – Уже установили контакт?

– С кем это? – развязно, с неверным, раздвоившимся взглядом переспросил Саша.

– Ну, с охранным отделением, с кем же еще! Какие же именно предприняли вы там... практические шаги?

– Что вы... ой, что вы! – опомнившись, закричал Саша Грацианский и даже лицом смертно осунулся от ужаса, такой стужей пахнуло на него из глаз Валерия. – Все это только в мыслях пока, только в мыслях...

... Прежде всего Валерий предостерег от Слезнева партийные организации столицы, но *Молодая Россия* и без того распалась быстро: имена ее участников больше не всплывали в революционном движении петербургской молодежи. Надо оговориться: добровольно отстранившись от всех студенческих объединений, Грацианский сам распустил своих птенцов, всемерно пытался загладить вину, не напрашивался на общественные порученья, но своими связями с артистической средой помогал по устройству концертов в пользу столичной бедноты, причем всячески старался, чтоб сего деятельности стороной узнал Валерий; лишь ко времени второй революции, за большими делами, подзабылся этот грешок Сашиной молодости.

Приблизительно через год стало известно, что Саша Грацианский читает лекцию о Пушкине в так называемом Народном доме графини Паниной, близ Лиговки, где, кстати, выступали и виднейшие деятели пролетарского движения; это был тоже легальный способ закинуть в народ семена политических раздумий. Мушкетеры отправились послушать выступление Грацианского в рабочей аудитории, но лектор по болезни не явился... Всем хорошо запомнился тот вечер, 1 сентября 1911 года, потому что к концу его стало известно о состоявшемся в Киеве покушении на Столыпина. Последующая смерть главного усмирителя русской революции вызвала полицейские репрессии, коснувшиеся большинства помянутых лиц. Валерий получил вечную ссылку в отдаленные местности империи, с одновременным лишением гражданских прав, охранка сочла также нежелательным дальнейшее пребывание в столице и Вихрова. Чередилов счастливо избежал общей участи, выехав в Костромскую губернию по вызову к умиравшему отцу. Что касается Грацианского, то обыск у него не дал вещественных доказательств причастности к крамольникам, и, по слухам, он отделался двумя сутками несколько стесненного пребывания в известной петербургской тюрьме, на Мытнинской набережной.

... Валерия угоняли в ссылку посреди зимы, когда Вихров снова попал в полосу нужды; очень кстати подоспевшая от неизвестного благодетеля, шестая по счету, получка была целиком передана товарищу при отправке его в край заполярной мерзлоты. Они разлучались в тот раз на шестнадцать лет. Провожаящие заранее собрались у вокзальных ворот, в большинстве – передовые рабочие столицы. Стояла вьюжная ночь, всех немножко занесло снежком, когда подошла партия пересыльных... Сперва послышался глуховатый звон не то дорожных чайников, не то чего другого, потом при свете факелов заблестели обнаженные пашки конвоя. Каторжные шли попарно, но шагали враздробь, погруженные в свои думы. Вместе с политическими были там и бродяги, и сектанты, и двое настигнутых расправой потемкинцев со знаменитого броненосца, и степенные мужики, страдалцы за крестьянский мир, вроде покойного Матвея, и еще какой-то безунывный старичок, оказавший милость и приют беглому сыну, и чья-то злосчастная жена, на верную гибель перегоняемая к мужу по этапу, – всего близ трехсот, медленные, как свинцом налитые и чем-то бесконечно похожие друг на друга: родня. «Вот они, типографские литеры, – подумал Вихров, – из которых составляется негласная летопись народной жизни».

Был поздний час, солдатикам тоже хотелось спать, но все крепились, словно сообщая выполняли важнейшее, хоть и подневольное, государственное дело. Вдруг незнакомая старушка рядом с Вихровым заволновалась, забормотала что-то вроде «ласковый ты мой, касатик родимый, веселая душа...», зажимая рот краем шерстяного платка; шестеро ее спутников, тоже неизвестные Вихрову, задвигались, загудели, рывком обнажили головы. Можно было подивиться, что у вечного студента и круглого сироты, если не считать проживавшей на Урале

тетки, остается в Петербурге столь обширная родня... Валерий шел скованный об руку с долговязым, каким-то остекленевшим от стужи парнем, и такой кашель раздирал ему внутренности, что становился главным звуком той ночи. Вихрову удалось пристроиться к шествию, пока задний конвоир остановился подождать отставших.

– Здесь деньги, все кланяются, береги себя, – скороговоркой, без выраженья и запятых, сказал Вихров, передавая другу трехкопеечный калачик. – Куда тебя теперь?

– Пока под надзор полиции на Мотовилиху, а там понадежнее куда-нибудь... Словом, в гости к себе не зову! – Он усмехнулся, неуклюже левой, свободной, рукой запихивая калач справа за пазуху. – Кстати, теперь можешь звать меня просто Степаном: разгадали...

– Кто же раскрыл тебя?

– Не знаю... но вели Грацианскому остерегаться Слезнева! – Он поднял свободную руку и помахал стоявшим без шапок рабочим. – Что Большая Кострома?

– Поехал на родину отца хоронить. Теплое-то есть на тебе?

– Ничего, злость греет... да и весна скоро.

Пока не растолкал подоспевший конвоир, последние три шага из одиннадцати они прошли в молчании: оно лучше всяких слов наполняло ограниченное время свиданья. Расстались даже без рукопожатия, спутник Валерия справа вдруг стал клониться на снег; как подрубленное, само просилось в землю его израсходованное тело.

Вихрова взяли двумя часами позже, по возвращении домой.

## 6

Свою двухлетнюю высылку он проскитался с лесоустроительной партией по Крайнему Северу России. Геодезические знания и достаточный навык в оценке лесной нивы пригодились молодому помощнику таксатора в такой же степени, как и вся предварительная закалка на нищету. Пристальные наблюдения за тамошним зеленым океаном окончательно определили направление Вихрова в лесной науке. Туляков неоднократно твердил на лекциях, что правильное лесное хозяйство — это дороги и еще семь раз дороги, без чего лес становится первобытной мглой, где все тянется к свету, борется, зреет и мрет с единственным назначением — стать когда-нибудь тонким пластиком антрацита; впрочем, под дорогами профессор разумел все необходимые инженерные средства, чтобы легко войти в сосновую дебрь, взять нужное и унести без затруднений... Но вот выяснилось теперь, что и эта дорога не приведет к процветанию данную отрасль народного хозяйства, если в корне не изменится пренебрежительное отношение к лесу со стороны любого владельца, как к безгласному и нелюбимому пасынку. Все говорило о том, что нет такого пункта в едином организме природы, длительное воздействие на который не сказалось бы в самых отдаленных ее областях. Вековые сплошные вырубki с последующим ветровалом нестойких дровяных пород вели к заболачиванию бескрайней, сглаженной ледником северной равнины. Едва исчезали древесные исполины, могучие растительные насосы, начинали скапливаться неиспаряемые грунтовые воды; набухшая почва затягивалась мхами, и у древесных семян уже не хватало силенок пробиться сквозь зыбкий ковер крохотных влаголюбов. Дальше требовались стихийные палы, ледниковые нашествия, чтоб взборонить запущенное, бесхозное пространство тундры. Она ширилась, сушила северные реки, нарушала водный баланс страны, родная сестра пустыни, наползавшей с юго-востока. Так постепенно избранная Вихровым лесная инженерия уступала место общей философии леса.

Через топи, порою лишь по охотничьим затёскам, сквозь комариную пургу, дымя жесточайшей махоркой вместо подкура, он исходил малый клочок нашей земли между нулевым и десятым меридианами. Он мерил углы, считал деловые бревна на десятину и так, за делом, полюбил неспешный и без лени уклад северной жизни, избавленной от всякого расслабляющего излишества, и тишайшее, ровно такой продолжительности лето, чтоб все живое успело улыбнуться солнцу. Побывал он и на славном острове Конь в устье Онеги и убедился, что коровы там едят рыбу, а девушки ходят своенравными царевнами-неулыбами, а жулья там вовсе нет.

Оттуда поднимался на онежские верховья посмотреть воровскую работенку иностранных концессий — как на отбор вырубали они кондовую беломорскую сосну, лучшую корабельную сосну на свете, оставляя по себе захламленную, разграбленную кладовую русской древесины. Или, пересекши Полярный круг, в устье Ковды, сидел на прогретом за день камушке с карелом Ананием, великим мастером любых деревянных творений, от поморского, червленного киноварью туеса до ходких двухмачтовых шняк, благонадежных в любую океанскую погоду.

Плыл оранжевый вечер, и казалось, нет выше радости, как сидеть здесь, в Княжьей губе, под шепот кроткой воды у ног, глядеть в закатное небо, похожее на древнюю морскую битву с обильем крови и пылающих парусов, — вдыхать солоноватый ветерок, разбавленный ароматом древесной прели и сохнувших сетей, слушать скрип запани и певучую Ананьеву речь.

— Сказывался ты, будто древесных краев человек, а забыл поди отцовско-те ремесло? — приблизительно так, шутки ради, экзаменовал Ананий молодого лесника. — А скажи, какие бывают обруча?

— Бывают дубовые, а бывают и кленовые.

— А с сучком?

— Не куплю... — отсмеивался Вихров.



– Вот тоже черемховые хороши, – лукавил Ананий.

– Черемховых-то не пропаришь, отец.

Радовался чему-то Ананий.

– Дельно, дельно, желанный. Ну, скажи мне теперь про завертки к саням.

– У нас на Енге их с конопелью вязали.

– И то, правда твоя: с куделью-то и мороза они не страшатся, – и всякий раз зачем-то прибавлял полюбившееся ему слово *панорама*.

Залетная гагара кричала в тишине, скрипели уключины карбаса за мысом, да стучала лесопилка купца Русанова на длинном островке впереди. И тут поведал собеседнику Ананий, что берега того островка, где морские суда становились на причал, образовались из опилок, реек и горбыля, скинутых в воду за ненадобностью.

– Чего дивуешься, весь и Архангельский-то город, корабельно-то пристанище, на древе стоит. И не счесть, сколь спущено во сине морюшко добра и силов, земных и небесных. – Под небесной силой разумел Ананий солнышко, безмерно обожаемое за Полярным кругом. – Да считай, сколь его, нашего золотца, по лесу да по дорогам раскидано... небрежно живем, желанный. Обижаем родную матушку: надкусим да и бросим материнско-то угощеньице. Мы не жалуемся, наше житие богатое: треска и пикша, да сполох в небе, да морошка-ягода... панорама! А эвон жарких-то стран жители не имеют ни избицы, ни тубареточки. В букварике у внука писано: на голой земле да в кожаных шалашах сидят, чего уж хуже И вот приходят молодые наши робятки в лес, валят богатырско дерево, отсекают зеленую главу, волокут его водой да чугушкой... и всяк его лушит, пилит да строжет по пути, сорит единственное наше богатство... и тает моя лесина, что льдинка на полой воде, и достигает до жаркой-то страны в размере не свыше веретенышка. А уж кака веретенышку цена? А кабы не гонять лесок по мытарствам, сладить бы у нас на месте ту избицу с тубареточкой, – глянь, лишняя бы рубаша молодухам нашим. Да кабы останки-то огнем не палить, в море не гноить, а к дельцу чинно приладить – и лишняя бы денежка нам набежала. И на те бы медные прибыли привезти нашим деточкам на Ковду яблочко, хоть зелененькое... поскольку не хуже прочих они, да и солдатушки из них ладные получаются. – Он поднял на зачарованного собеседника детски ясный взор. – А хватит копеечек, тут бы и старикам хоть по горстке сушеного изюмцу. А то еще, верно ли сказывают, виноградь-плод на свете имеется. Ой, сладок, говорят... не едал ли?

Было в облике Анания что-то привлекательное и неизгладимое, роднившее его с Калиной. Со временем к этим двум голосам присоединились и другие голоса родной земли, подслушанные Вихровым в последующих скитаньях... Позже, на знаменитых вихровских лекциях, это они говорили устами профессора, что любовь к родине, чем и пишется национальная история, немыслима без бережного обхождения с дарами природы, предоставленными в распоряжение не одного, а тысячи счастливых и разумных поколений. И пожалуй, скорее карелу с Ковды, чем самому Ивану Матвейчу, принадлежала крылатая концовка одной из них: «Наклонись, не пожалей спины, советский человек, и подыми этот ближний миллион, что давно уже под ногами у тебя валяется». К сожалению, этот немаловажный вопрос о повышении доходности в лесном промысле севера Вихров неосторожно подкрепил Ананьевой притчей о зеленом яблочке, расцененной Грацианским в одном частном разговоре как сентиментально-демагогическая и даже враждебная вылазка якобы против дружбы советских народов.

Разговор этот состоялся много лет спустя в деканском кабинете Лесохозяйственного института, за полчаса перед одним, весьма памятным обсуждением вихровской деятельности. В тот день многие видели их сидящими рядом в дружеской беседе, так как оба держались мнения, что научная борьба не должна отражаться на их личных отношениях, сложившихся еще в пору царских гонений.

– Плохо выглядишь, браток... смотри не рухни, – подбодрил Грацианский свою жертву словом товарищеского участия. – Все буйствуешь... и прямо скажу, не понравилось мне это

Ананьево яблочко: с червячком оно. Схлопочешь ты себе неприятности по первому разряду... А почему бы тебе не отдохнуть, не погулять под черным паром годок-другой, э... и даже третий? Мне при моих слабых легких гораздо виднее, каким бесценным благом является неповрежденное здоровье.

– Ну, при своих слабых легких, Александр Яковлевич, ты дожил почти до пятидесяти годов и еще не устал гадить на мой рабочий стол, – неожиданно грубо и желчно посмеялся Вихров, что объяснялось его естественным состоянием перед проработкой.

– Все шутишь, Иван, а зря. Сколько у тебя гемоглобину? Не знаешь, а в нашем возрасте пора знать. Береги себя хотя бы для нас, твоих поклонников, и э... сателлитов. Представь, о чем же я буду писать, если ты... ну, скажем, расхворяешься? – Прямой угрозой припахивал тот ножовый разговор. – А в конце-то концов, черт с ним, с лесом... здоровье дороже полена, даже самшитового!

– Дай мне вторую жизнь, я употреблю ее на доказательство тех же истин.

Тень застарелого раздражения набежала на лицо Грацианского:

– Но мы-то знаем с тобой, милый, что истины не бывает. Можно говорить лишь о страстном движении человека к ней, составляющем предмет истории. В данном случае лес надо рассматривать как повод, который помог тебе проявить свою личность, закалиться в лишениях, повидать страну... Кстати, говорят, ты недавно даже на Енисее побывал?.. когда это ты успел?

– Да, держу там под наблюдением рощу одну уже пятнадцать лет. В пору молодости я ведь постраниствовал немало, пока не охромел.

– Вот и поделился бы впечатлениями! И вообще давно мы с тобой не сидели за бутылкой, с глазу на глаз... с *тех* пор, пожалуй, как нас заодно с Валерием замела охранка. Кстати, как это ты сумел тогда из ссылки выбраться? – и подозрительным взглядом, поверх очков, уставился Вихрову в переносье.

На самом же деле Грацианскому было отлично известно, что из ссылки Вихров выбыл по амнистии тринадцатого года и свыше года затем пребывал в непонятных скитаниях по стране. Действительно, вместо возвращения к прерванной учебе или жаркой общественной деятельности, как поступил сам Грацианский незадолго до первой мировой войны, Иван Матвейч предпринял тогда полугодовое путешествие по губерниям Европейской России – даже с заездом в Сибирь. Кстати, по расчетам Грацианского, заработанных на севере средств Вихрову могло хватить недель на семь, и оттого его, как ребенка, мучило любопытство: продолжались ли и после ссылки даяния неизвестного покровителя?..

И правда, она выглядела несколько загадочной, эта бродяжная прихоть, казалось бы, изголодавшегося в ссылке и внешне рассудительного человека, чего ради отвергнувшего все соблазны столичного бытия? Полупешком и впроголодь пускаться в тысячеверстную прогулку, чтоб вникнуть в незамысловатые повести исподней русской жизни, – слезать на полустанках поглуше и брести невесть куда до встречного шляха, дорожной ветки, малосудоходной речушки... и снова тащиться с паломниками в дальнюю обитель, трястись зайцем на товарной платформе, плыть матросом на камском буксире, пока не пожелается исчезнуть для других, столь же сомнительных предприятий, – под руководством одноглазого столетнего старчища изучить сидку дегтя где-то на Припяти или послушать, как осипшими от царевой водки, гусиными голосами тянут песнь про своего героя астраханские амбалы: Волга любит, чтоб на ней пели о Стеньке... И всю дорогу всматривался в ненаглядные морщинки материнского лица – с нежностью и оттенком той неизменной грусти, без которой не бывает ни большой любви, ни, пожалуй, душевного здоровья... И, сам мужик, дивился нераскрытому богатству ее странства, выносливости ее мужчин, строгой осанке женщин и по прошлому старался угадать будущее своего племени, возвращенного на черном хлебе и снятом молочке.

## 7

Сбывалась старая вихровская мечта – еще раз прикоснуться щекой к суховатой, вскормившей его груди. С сапогами за спиной, в просолоневшей под мышками рубаше шагал по проселкам и суходолам от света до свету, и, подобно отражениям в зеркале, одни и те же картины представляли ему. Как сквозь полуденные видения, проходил он через невеселые свадьбы или, напротив, оживленные поминки с гульбой наотмашь, – мимо ярмарок с бешеными каруселями и русских пожаров, оставлявших по себе речку слез да горсть золы, – сквозь престольные праздники, драчливые сходы и прочие сборища, где горланит, пляшет, слезами заливается народная душа. Видел нешумную, пугливую детвору, утопленниц в ромашках и растоптанных конокрадов, пучеглазых урядников-стрекачей, мчавшихся под хмельком на мертвое тело, слепцов с гугнивыми преданьями Святославовых времен, кандальников за мирское дело... похоже, вся тогдашняя Россия шла навстречу Вихрову в своей заплаканной красе. И опять на неделю поглощало его огромное, даже без кузнечиков, безмолвие полей. Серый пламень суховея шелушил ему лоб и клин тела в расстегнутом вороте рубахи; тут-то и прилечь бы под хвойными кущами сей знаменитой лесной державы, но, как ни менял направления, все не появлялось спасительного леска на мгlistом горизонте.

Глаза уставали быстрее ног. Садился у прохладного болотца с чахлым лозняком, глядел в оконце смуглой воды, где однажды зародилась вся эта незадачливая жизнь и где, верно, и теперь чей-то отважный, незримый глазу праотец в полмикрона ростом переплывал страшный, полуторааршинный океан. Или, задыхаясь от зноя, валился на некошеной пойме, то следя за ястребом в синеве, то разглядывая насекомую мелюзгу в травяных дебрях. Мураши с подтянутыми животами сновали по своим тропинкам, шумели на диких скабиозах шмели, земляные осы тащили поживу к норкам... и студент Иван Вихров спрашивал у них, куда же подевались в этой зловещей тишине истинные хозяева России?

Мерный скрип колес подымал его с лужка. Обоз подвод в пятнадцать двигался мимо; сбоку плелись подобия людей, иные с буренками в поводу, иные налегке, с кнутьями. Уравненные бедой, молодые и старые, они все казались одного гнезда и возраста. То были переселенцы в сытные, приманчивые издала края. Как и положено призракам, шли не подымая пыли, без жалобы и не спеша, в избытке владея несчетным континентальным временем... Шествие начинала и замыкала такая же древняя, из тьмы веков бредущая телега. Вровень с коньком плелся рослый мужик с черными обводьями вокруг глаз и, в голову за ним, небом ему дарованная жена, чтоб было с кем родить сынов, сохой царапать землю, проклинать белый свет; полдень им был темнее ночи. В кузове поверх рухлядишки качался пожелтый от жизни дед со спящим внучком на коленях... Отвесное солнце палило прямо в горлышко малютке. И оттого ли, что призраки не примечают живых, никто не обертывался на стоявшего при обочине Вихрова, даже дети.

Его самого втягивало в поток, и вот шагал рядом, и тут выяснялось, что все они пого-рельцы, идут из-под Кадома на привольные алтайские пристанища, что в дороге уж закопали маманю, слава богу отмучилась от своей жизни, что теперь уж недалеко, абы перевалить уральские хребты, а там, коли смилуется господь, рукой подать. «И как пройдете Крестовое село, – наизусть, заострившимися зрачками глядя вперед, читала женщина, – то встренется вам дивная долина вся в цветах, но вы туда не ехайте, а забирайте все влево, на Китай. Тут будут вам и некошенные луга, и нерубленные боры, и полноводные речки с превеликим множеством рыбы и утвы в затонах, а уж клевера-то... – отписывал в том же письме земляк, – осподи, не знаешь, отколь и починать, такие клевера!»

– Смотри, дедка, доедешь ли в такую даль?

– Вот тащуся, – оживлялся тот, соскучась по человеческой речи, – я еще деловой! Ясно, уж хомутишка мне не связать, дровен тоже не обогну, куды. Зато, вишь, колодезник я... и сколь я их, ангел ты мой покровитель, этих самых колодезей в жизни моей ископал, произнести неммысленно. У меня, вишь, на воду-то ключик есть. Веди меня под руки в самую что ни есть дикую пустыню, в ледяные края, и я тебе без протайки в снегу указание дам, где заступом вдавить... и выскочить не успеешь, заляешься. Помещик Зверопонтов – не слыхал ли? – на тройке за мной приезжал, веришь ли, в ночное время: «Добудь мне, дедушка Ефрем, той чистородной водицы!» А я знаю зверопонтовску-т усадьбу, камень-бурляк один... из него токмо в бане каменку складать...

– Небось сковородки с ночи расставляешь, по росе признаешь? – догадывался Вихров.

– Зачем, у меня позаветней средство имеется.

– Уж помолчал бы... истинно как есть безунывное брехло, – в сердцах осаживал его хозяин подводы.

– Все ругается... а мне хорошо, я глухой, не слышу, – подмигивал через минутку дед. – С того и серчаег, извольте ли видеть, что ключика ему своего не раскрываю... а куды мне тогда одинокому без ключика-то? Ить не сын, не зять, а везет. Хы, да он и тонуть станет, со мной не расстанется. Вези-вези, не замахивайся, а то помру! – И грозился кривым землистым перстом.

Потом виденье расплывалось пыльным облачком, и Вихров оставался на дороге один со своими мыслями. Вскоре показывалась за косогором желанная, самые вершинки пока, зелень, – Вихров поспежал в последнюю минуту. Чудом уцелевшую, уже общипанную кругом, при овражке, березовую рощицу сводили на дрова, чтобы по первой пороше вывезти сухое звонкое полено Лесорубы как раз полдничали и не то чтобы жевали нечто всухомятку, а обыкновенно сидели в отдохновении на бревнах, наслаждаясь мыслями о сытной пище и щемящей прохладкой вянувшей листвы. Лишь один непоседа с припадающим дергающимся веком, подвязана тряпичей скула, продолжал работу, несмотря на зной, и было примечательно, с каким жарким вдохновением истреблял он свое последнее в том уезде лесное достояние. Среди взрослых берез попадались вовсе молоденькие, гожие лишь на метлу; он валил их с удару, деловито, ровно шеи гусятам, пригибая стволики в золотистой шелухе. Надо думать, чем-то иным представлялась ему в запале эта безвинная молодежь... Кстати, рубили высоко, то ли по лености, то ли в расчете на поросль, то ли с намерением воротиться в стужу за пеньком.

– Как покойницу-то звали? – для почину спрашивал Вихров, присаживаясь на поленницу.

– Чево-с? – недружелюбно откликнулся на полувзмахе тот, труженик, но, видно, имелось нечто в босом, заросшем, оборвавшемся студенте, подтверждавшее его право на столь дерзкие интонации. – А, ты про лесишку тоись? Медунихой звалась, заветная.

Название указывало на присутствие липы в прежние годы, но, как ни вглядывался Вихров, ни одной не чернело в пестром от солнца перелеске. Тут и прочие подходили справиться об имени-званье прохожего, и чем смешней сгоряча, графом или барином, назывался Вихров, тем скорей происходило сближение. Беседа начиналась с шутки, дескать, покурим барского-то, а Вихров отдавал на расправу давно опустелый кисет, и тогда они сами безобидно делились с ним табачком.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.